



БЕРНХАРД ШЛИНК

Возвращение

Роман-путешествие
о долгой дороге домой,
полной тайн и открытий,
от автора бестселлера
«Чтец»

Бернхард Шлинка

Возвращение

Серия «Большой роман»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65024732

*Б. Шлинка. Возвращение: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»; Москва; 2021
ISBN 978-5-389-19712-1*

Аннотация

Главная тема романа Бернхарда Шлинка «Возвращение» – долгий путь домой. Что, как не мечта о доме, поддерживает человека во время бесконечных странствий, полных опасных приключений, фантастических перевоплощений и ловкого обмана? Однако герою не дано знать, что ждет его после всех испытаний у родного порога... Зачитываясь гомеровской «Одиссеей» и романом безымянного автора о побеге немецкого солдата из сибирского плена, юный Петер Дебауер еще не догадывается, что судьба дает ему ту ниточку, потянув за которую он, может быть, сумеет распутать клубок былей и небылиц, связанных с судьбой его не то пропавшего без вести, не то погибшего на войне отца.

Содержание

Часть первая	6
1	6
2	9
3	13
4	17
5	23
6	28
7	32
8	37
9	40
10	44
11	51
12	53
13	57
Часть вторая	60
1	60
2	67
3	72
4	78
5	81
6	84
7	86
8	92

9	96
10	104
11	109
Конец ознакомительного фрагмента.	112

Бернхард Шлинк

Возвращение

Bernhard Schlink

Die Heimkehr

© 2006 by Diogenes Verlag AG Zurich

© А. В. Белобратов, перевод, 2010

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство Иностранка®

* * *

Часть первая

1

В детстве я всегда проводил летние каникулы в Швейцарии, у дедушки и бабушки. Мама отводила меня на вокзал и усаживала в вагон; если мне везло, то я ехал без пересадки и через шесть часов выходил на перрон, где меня уже поджидал дед, а если не везло, на границе приходилось делать пересадку. Один раз я перепутал поезд и сидел в вагоне, заливаясь слезами, пока добрый дядя-кондуктор не успокоил меня и через несколько остановок не пересадил на другой поезд, передав с рук на руки новому кондуктору, а тот переправил меня дальше, и вот так, по кондукторской эстафете, меня доставили на место.

Я любил ездить на поезде. Мне нравилось смотреть, как мимо пролетают селения, как сменяют друг друга пейзажи за окном, нравилось уютное купе, нравилось, что я такой самостоятельный. У меня был свой билет, свой документ, было что поесть и что почитать в дороге, я был сам по себе, и никто мне был не указ. В швейцарских поездах купейных вагонов не было. Зато все места были парные, у окна или у прохода, и тебе не грозило оказаться, как в купе, зажатым попутчиками с двух сторон. Да и светлые деревянные сиденья

у швейцарцев были, на мой вкус, намного симпатичнее, чем красно-коричневая пластмассовая отделка у немцев, а серый цвет вагонов, надпись на трех языках «SBB – CFF – FFS»¹ и герб с белым крестом на красном поле выглядели намного благороднее грязновато-зеленой немецкой краски и надписи «DB»². Я гордился тем, что я наполовину швейцарец, хотя от неказистых немецких поездов веяло чем-то близким, родным, домашним, напоминая и неказистый городок, в котором жили я и мама, и неказистый люд, который нас там окружал.

Я доезжал до большого города на берегу озера, и там мое путешествие заканчивалось. Это была конечная станция, и мне нужно было просто идти вдоль перрона к вокзалу, ведь разминуться с дедушкой я никак не мог: он был большой и сильный, с пышными седыми усами и лысиной на голове, с темными глазами, одетый в светлый полотняный пиджак, с соломенной шляпой и тростью в руке. Он весь был сама надежность. Он остался для меня таким же огромным, даже когда я его перерос, и таким же сильным, даже когда он стал ходить, опираясь на палочку. Когда я стал студентом, он иногда по-прежнему брал меня на улице за руку. Я немного стеснялся, но мне не было стыдно.

¹ SBB (Schweizerische Bundesbahnen) – CFF (Chemins de Fer Fédéraux Suisses) – FFS (Ferrovie Federali Svizzere) – сокр. «Швейцарские железные дороги» (соотв. нем., фр., ит.). – Здесь и далее прим. пер.

² DB (Deutsche Bahn) – сокр. «Немецкие железные дороги» (нем.).

Дедушка и бабушка жили в одном из городков, растянувшихся по берегу озера, и при хорошей погоде мы с дедушкой садились не на поезд, а на пароход. Больше всего мне нравился большой старый колесный пароход, в самой середине которого находилась машина, и я зачарованно глядел, как в ней движутся бронзовые и стальные поршни и рычаги, блестящие от смазки. На пароходе было несколько палуб, открытых и закрытых. Мы стояли на передней палубе, дышали полной грудью и смотрели на маленькие городки, появлявшиеся один за другим на берегу и вновь исчезающие из виду; вокруг парохода кружили чайки, по озеру плавали, красуясь тугими парусами, яхты, и спортсмены на водных лыжах выделяли разные фигуры. Иногда из-за ближних гор показывались вершины Альп, и дедушка каждую из них называл по имени. Проложенная солнцем по глади воды световая дорожка, ярко искрившаяся посередине и распадавшаяся по краям на танцующие осколки, двигалась вместе с пароходом, и мне это казалось необъяснимым чудом. Я уверен, дедушка тогда объяснил мне природу такого оптического явления, и все же по сию пору я воспринимаю его как чудо. Световая дорожка начинается там, где как раз стою я.

В то лето, когда мне исполнилось восемь, у мамы не нашлось денег мне на билет. Она, уж не знаю как, отыскала водителя-дальнобойщика, и тот согласился довезти меня до границы и передать там с рук на руки другому водителю, который довезет меня до дедушки и бабушки.

Мы уговорились встретиться возле товарной станции железной дороги. Маме было некогда дожидаться, пока машина приедет; она поставила меня вместе с чемоданом перед воротами и строго-настрого наказала не отходить ни на шаг. Я ждал, тревожно вглядываясь в выезжавшие из ворот грузовики, а потом смотрел им вслед, одновременно успокоенный и разочарованный. Я раньше и не представлял себе, что они такие огромные, так громко рычат моторами и выпускают из выхлопной трубы такой вонючий черный дым. Настоящие чудовища.

Не знаю, сколько я тогда прождал. Часов у меня не было. Через какое-то время я уселся на чемодан и каждый раз вскакивал, когда очередной грузовик замедлял ход, словно собираясь остановиться. Наконец один грузовик затормозил рядом со мной, водитель поднял меня вместе с чемоданом в кабину, а его напарник уложил меня на спальное место, расположенное за водительским креслом. Мне было сказано, чтобы я держал рот на замке, не высовывался головой над

краем лежанки и спал. Было еще светло, но я не смог уснуть, даже когда стемнело. Поначалу водитель или его напарник время от времени оборачивались в мою сторону и ругались, если я высовывался. Потом они обо мне позабыли, и я спокойно глядел в окно.

Угол обзора был небольшой, но через боковое стекло со стороны напарника виден был закат солнца. Из разговора водителя с напарником я уловил какие-то обрывки: речь шла об американцах, о французах, о грузе и о деньгах. Я задремал под равномерный шум колес и мягкое потряхивание, пока грузовик ехал по дороге из больших бетонных плит, которыми в ту пору мостили автомагистрали. Скоро магистраль закончилась, и мы поехали по разбитой каменистой дороге. Из-за рытвин водителю приходилось постоянно переключать передачу. Эта ночная поездка выдалась беспокойной.

Грузовик время от времени останавливался, в кабину заглядывали какие-то люди, водитель с напарником выходили из машины, открывали задний борт и что-то двигали и переставляли в кузове. Иногда грузовик останавливался у фабрик и складов, где ярко светили лампы и звучали громкие голоса, иногда – на плохо освещенных или совсем темных заправках, парковках, а то и вовсе посреди поля. Должно быть, водитель и его напарник занимались и собственными делами: наряду с основным грузом перевозили то ли контрабанду, то ли краденое, и поэтому весь путь занял намного больше времени, чем они рассчитывали.

Как бы то ни было, до границы мы добрались с опозданием, другой грузовик уже уехал, и мне пришлось несколько часов в предрассветных сумерках просидеть на площади городка, названия которого я не запомнил. На площадь выходила церковь, там стояли два-три новых дома и несколько зданий с сорванными крышами и пустыми глазницами окон. С первыми лучами солнца на площади появились люди и развернули на ней рынок; они привезли с собой мешки, ящики и корзины на больших двухколесных тележках с плоской грузовой площадкой, в которые грузчики впрягались, накиннув себе через плечо лямку. Меня всю ночь мучил страх: я боялся капитана и рулевого, управлявшего грузовиком, боялся нападения пиратов и несчастного случая, боялся, что захочу в уборную. Когда появились люди, я испугался, что кто-нибудь меня заметит и станет мной командовать, одновременно я боялся, что меня никто не заметит и никто обо мне не позаботится.

Когда солнце поднялось выше, я очутился на самом солнцепеке, но не решался отойти от скамейки, пока наконец рядом со мной у тротуара не затормозила легковая машина с откинутым верхом. Шофер остался в машине, его попутчица вышла, взяла мой чемодан и положила в багажник, а меня усадила на заднем сиденье. То ли из-за того, что машина была огромная, то ли из-за яркой одежды водителя и его спутницы, то ли из-за независимой манеры их поведения и легкости жестов, то ли из-за того, что, когда мы пересекли

границу со Швейцарией, они купили мне мороженое, первое мороженое в моей жизни, но с тех самых пор я всякий раз вспоминал этих двоих, когда слышал о богатых людях или читал о них. Кто они были? Такие же контрабандисты или укрыватели краденого, как шофер-дальнобойщик? Одним словом, и с ними мне тоже было страшно, хотя эти двое, сами еще молодые, обращались со мной ласково, словно с младшим братишкой, и доставили меня к бабушке и дедушке как раз к обеду.

Дедушкин дом был построен архитектором, который изрядно постраниствовал по белому свету. Далеко выступающая вперед крыша на искусно обтесанных деревянных подкосах, мощный эркер второго этажа, украшенный водостоками балкон на третьем этаже и окна с полукруглыми кирпичными арками делали его похожим на колониальную усадьбу, испанский замок и романский монастырь одновременно. Причем одно с другим хорошо сочеталось.

Кроме того, все это скреплялось воедино еще и садом: слева росли две высокие ели, справа – огромная яблоня, впереди – старая и плотная живая изгородь, по правой стене дома вился дикий виноград. Сад был большой; улицу от дома отделяла лужайка, с правой стороны были разбиты овощные грядки с помидорами и фасолью, тянулись кусты малины, смородины и ежевики, там же находилась компостная куча, по левую сторону шла широкая, посыпанная гравием дорожка, которая сворачивала за дом, где находилась входная дверь, обрамленная двумя кустами гортензии. Когда мы с дедом по скрипучему гравию подходили к дому, бабушка, издали заслышав наши шаги, распахивала дверь, прежде чем мы оказывались на крыльце.

Скрип гравия, жужжание пчел, стук мотыги или металлических граблей на огороде, запавшие мне в память с тех

пор, как я проводил лето у бабушки с дедушкой, стали для меня звуками лета. Пахнет же лето горьковатым запахом нагретого солнцем самшита и гниловатыми испарениями компостной кучи. А летняя тишина – это тишина послеобеденной поры, когда не слышно ни детских голосов, ни собачьего лая, ни дуновения ветра. На улице, где стоял наш с мамой дом, всегда было оживленное движение; когда мимо проезжал трамвай или грузовик, у нас звенели оконные стекла, а когда строительные машины сносили разбомбленные соседние дома или работали на новостройке, в комнате дрожали полы. У дедушки и бабушки никакого транспорта не было и в помине, ни перед домом, ни в деревне. А если мимо проезжала запряженная лошадью телега, дед посылал меня за совком и ведром, и мы с ним неторопливо шествовали за подвой, собирая лошадиные яблоки для компостной кучи.

В этом городке имелся железнодорожный вокзал, пристань, несколько магазинов и две или три гостиницы, причем в ресторане одной из них алкоголя не подавали, и бабушка с дедушкой иногда водили меня туда по воскресеньям обедать. Дед ходил за покупками через день, следуя маршрутом от молочной лавки к сырной, потом к булочной и кооперативному продуктовому магазину, заворачивая иногда в аптеку или к сапожнику. Дедушка ходил в светлой полотняной куртке и светлой полотняной кепке, в кармане куртки лежала книжечка, которую бабушка сшила ему из обрезков бумаги, в книжечку он записывал, что надо купить, в правой ру-

ке у него была палка, а левой он держал за руку меня. Я нес старую кожаную сумку, а поскольку мы ходили за покупками через день, она никогда не заполнялась доверху, и нести ее было не тяжело.

Быть может, дедушка ходил за покупками через день, чтобы доставить мне удовольствие? Я любил эти походы: любил запах аппенцеллерского и грейерцерского сыров в молочной и сырной лавках, запах свежего хлеба в булочной, мне нравилось изобилие товаров в продуктовом магазине. Он был намного красивее той лавчонки, в которую мама всегда посылала меня, потому что там нам отпускали товар в долг.

Совершив покупки, мы шли к озеру, кормили лебедей и уток остатками черствого хлеба и смотрели на проплывавшие по озеру, отходившие от пристани и причаливавшие пароходы. И здесь царил полный покой. Волны плескались о прибрежную стену, и этот чмокающий звук лета тоже запечатлелся в моей памяти.

А еще были звуки вечера и наступавшей ночи. Мне разрешали оставаться со взрослыми, пока не пропоет дрозд. Лежа в постели, я не слышал ни звука моторов, ни голосов; я слышал, как часы на церковной башне отбивали время, слышал, как каждые полчаса по железной дороге между домом и озером проезжал поезд. Сначала вокзал, находившийся в верховье озера, звоном колокола сообщал вокзалу, находившемуся в низовье, что в его сторону направляется поезд, через несколько минут поезд проезжал мимо нас, и проходило

еще несколько минут, прежде чем нижний вокзал сообщал верхнему, что поезд прибыл. Нижний вокзал находился от нас дальше, чем верхний; звук его колокола был еле слышен. Через полчаса проходил поезд, направлявшийся к верховью озера, и те же звуки повторялись в обратной последовательности. Сразу после полуночи проходил последний поезд. И потом до моего слуха доносился только шум ветра в деревьях и шуршащего по гравию дождя. А так царила полная тишина.

Лежа в постели, я никогда не слышал звука шагов по дорожке. Бабушка и дедушка никуда не ходили по вечерам и сами никого в гости не приглашали. Лишь проведя у них не одно лето, я понял, что они по вечерам работали.

Поначалу я не задумывался о том, на какие средства они жили. Мне было ясно, что они зарабатывали деньги не так, как мама, которая утром уходила из дому, а вечером возвращалась домой. Я видел, что многое из того, что у них подавалось на стол, было взято из собственного сада и огорода, однако ведь одним приусадебным хозяйством нельзя было прокормиться. Я даже знал, что такое пенсия, однако никогда не слышал, чтобы бабушка и дедушка жаловались на нехватку денег, как жаловались у нас в городе старики из нашего подъезда, которых я встречал в лавке, и поэтому я не понимал, что бабушка и дедушка тоже пенсионеры. Я вообще не задумывался, на что они живут.

После смерти деда остались его мемуары. И только из них я узнал, откуда он родом, чем занимался и на какие средства жил. Он много чего рассказывал мне во время наших прогулок и пеших походов, но совсем ничего не рассказывал о себе. А ведь ему было что рассказать.

Он мог бы рассказать, например, об Америке. В девяностые годы девятнадцатого века отцу моего деда жизнь в де-

ревне опостылела, после того как оползень разрушил его дом и погубил сад, и он, как многие из его деревни, вместе с женой и четырьмя детьми отправился в Америку. Он хотел, чтобы дети его стали настоящими американцами. На поезде они добрались до Базеля, оттуда на речном пароходе до Кёльна, а потом на поезде, на океанском пароходе и в повозке – соответственно до Гамбурга, Нью-Йорка, Ноксвилла и Хэндсборо: в мемуарах повествуется о величии достроенного Кёльнского собора, о просторах Люнебургской пустоши, о спокойном и о бурном море, о том, как они увидели статую Свободы, о встрече в Америке с родственниками, которые выехали туда много раньше и процветали или бедствовали. В Хэндсборо умерли сестра и брат моего деда, а жестокосердый родственник не разрешил, чтобы их похоронили на принадлежавшем ему кладбище, и их похоронили рядом с кладбищем, – наконец-то я понял, что означала фотография, висевшая в спальне стариков: на ней перед маленьким, уютным, обнесённым кованой решеткой кладбищем с каменными воротами виднелись две невзрачные могилки, огороженные досками. Эмигранты устроились в Америке, однако счастья им это не принесло. Их мучила тоска по родине, а эта болезнь иногда бывает смертельной. В мемуарах деда рассказано, как в деревенской церкви частенько оглашали прихожанам и записывали в церковную книгу, что такой-то человек умер от ностальгии в Висконсине, в Теннесси или в Орегоне. Через пять лет семья, уехавшая в Америку вместе-

ром, вернулась на родину вчетвером, с теми же большими чемоданами, которые им сколотил деревенский столяр.

Моему дедушке было что рассказать об Италии и Франции. Побывав учеником у ткача и у прядильщика, он несколько лет проработал в Турине и Париже, и снова его мемуары повествуют о том, с каким интересом он осматривал достопримечательности и знакомился со страной и людьми, рассказывают о скудном жалованье, о нищенском жилье и о суевериях, царивших среди рабочих и работниц в Пьемонте, о конфликте между католицизмом и свободомыслием и об усилении национализма во Франции. И здесь тоже говорится о том, как его мучила тоска по родине. Потом он стал управляющим прядильной фабрикой в Швейцарии, женился и создал свой домашний очаг, купил дом в Швейцарии – наконец-то он зажил не вопреки собственной природе, а в согласии с нею.

Когда накануне Первой мировой войны он занял пост управляющего немецкой прядильной фабрикой, ему не пришлось покидать родные края. Он ездил на фабрику через границу и возвращался после работы домой – до тех пор, пока после Первой мировой войны из-за инфляции его жалованье не обесценилось и в Германии, и особенно в Швейцарии. Он старался поскорее тратить жалованье на приобретение разных долговечных вещей, и у меня в доме до сих пор сохранилось одно из тяжелых шерстяных одеял, которые он в большом количестве приобрел по случаю при ликвида-

ции немецкого лошадиного лазарета и которым действительно нет сносу. Однако лошадиными попонами не накормишь жену, чтобы она была здоровой и сильной, забеременела и родила ребенка, и тогда дедушка снова стал управляющим на швейцарской прядильной фабрике.

Он навсегда сохранил преданность немцам. Его издавна занимала судьба немцев за границей, – возможно, он считал, что они так же страдают от тоски по родине, как когда-то страдал он сам. Когда бабушка готовила еду, дед всегда ей помогал: он брал круглую металлическую сетку со свежесмытым, мокрым салатом, выходил на порог дома и тряс ею, пока салат не высохнет. Нередко, выйдя на крыльцо, он застревал там надолго, и тогда бабушка посылала меня за ним. Я шел и заставлял его сосредоточенно рассматривавшим капли воды, которые он разбрызгал на каменные плиты перед входом, когда размахивал сеткой.

«Что с тобой, дедушка?»

Капли на плитах напоминали ему о рассеянных по свету немцах.

После того как дедушка и бабушка пережили Первую мировую войну, грипп и инфляцию, после того как дедушка стал больше зарабатывать на процветающей швейцарской прядильной фабрике и, запатентовав два изобретения, с большой выгодой продал патенты, у них наконец-то родился сын. С этого момента на страницах дедушкиных записок то тут, то там обнаруживаются наклеенные фотографии: мой

отец с бумажной шапочкой на голове, верхом на деревянной лошадке на палочке, вся семья за столом в садовом домике, мой отец в костюмчике и с галстуком в день поступления в гимназию, вся семья с велосипедами, одна нога на педали, другая – на земле, словно они вот-вот отправятся в путь. Несколько фотографий были просто заложены между страницами. Мой дедушка в школе, мой дедушка – молодой супруг, мой дедушка – пенсионер, мой дедушка за несколько лет до смерти. Взгляд у него всегда серьезный, печальный, он растеряннно смотрит перед собой, словно не видя ничего вокруг. На последней фотографии у него изборожденное морщинами лицо, худая старческая шея торчит из широкого воротника рубашки, словно у черепахи из-под панциря; взгляд стал робким, а душа будто готова спрятаться за маской нелюдимости и чудачества. Однажды он рассказал мне, что всю жизнь страдал головными болями, боль шла от левого виска к затылку, «как перо на шляпе». Об изводивших его депрессиях он мне никогда не говорил, да он, пожалуй, и не знал, что и печаль, и растерянность, и страх могут быть диагнозом, у которого есть название, – да и кто тогда о таком помышлял! Впрочем, дело редко доходило до того, чтобы он не мог встать, что-то делать, работать.

Он вышел на пенсию в пятьдесят пять лет. На прядильной фабрике он зарабатывал себе на жизнь, но по-настоящему его интересовали история, общество и политика. Вместе с друзьями он купил газету и стал ее издателем. Однако газета

в вопросе о швейцарском нейтралитете занимала позицию, противоположную общественному мнению, и, обладая лишь незначительными финансовыми средствами, не смогла выдержать конкурентную борьбу. Все это предприятие доставляло ему и его друзьям больше забот, чем радости, и через несколько лет газету пришлось закрыть. Однако газетная деятельность позволила деду установить контакт с книгоиздателями, и он вместе с бабушкой взялся за свою последнюю работу, которая заполняла все их вечера: они редактировали серию «Романы для удовольствия и приятного развлечения».

Своей любви к истории дедушка давал выход в чтении и в наших с ним прогулках. Ни одна прогулка, ни одно путешествие, ни один пеший поход, как он называл наши вылазки, не обходился без рассказов о событиях из швейцарской и немецкой истории, и в особенности – из истории войн. Его память была неистощимым кладезем, хранившим схемы батальев, которые он чертил тростью на земле: Моргартен, Земпах, Санкт-Якоб-на-Бирсе, Грансон, Муртен, Нанси, Мариньяно, Росбах, Лейтен, Цорндорф, Ватерлоо, Кениггрец, Седан, Танненберг и многие другие, названий которых я уже не помню. К тому же он обладал даром рассказывать живо и увлекательно.

У меня было несколько любимых сражений, историю которых я готов был слушать снова и снова. Во-первых, битва при Моргартене. Герцог Леопольд ведет за собой весь цвет австрийского рыцарства, ведет словно на охоту; он намерен одержать легкую победу, обратить в бегство якобы безоружных и не способных сопротивляться граждан Швейцарии и быстро захватить добычу. Однако швейцарцы закалены в борьбе и готовы к бою. Они знают, за что сражаются: за свободу, за дом и семейный очаг, за жен и детей. Им известно, в каком направлении намерен ударить Леопольд. Рыцарь фон Хюненберг, добрый сосед и друг швейцарцев, послал в их

лагерь стрелу из лука, привязав к ней пергаментную записку с предупреждением о грозящей опасности. И вот они затаились на горе в ожидании австрийского войска, которое должно пройти по узкой дороге между озером Эгери и горой Моргартен. Когда австрийское войско сгрудилось на узком пространстве и всадники стали напирать друг на друга, вниз полетели обломки скал и стволы деревьев, и швейцарцы сбросили часть врагов в озеро, а потом ринулись в атаку и перебили остальных. Рыцари, пытавшиеся спастись вплавь, под тяжестью лат потонули и нашли свою могилу в пучине вод.

Меня впечатляла храбрость швейцарцев. В то же время меня волновал вопрос о стреле, посланной рыцарем фон Хюненбергом. Разве это не предательство? Разве предательство не принизило подвиг швейцарцев?

Дедушка кивнул:

– Твой отец меня тоже об этом спрашивал.

– Ну и что ты ответил?

– Рыцарь был свободным человеком. Он не обязан был держать сторону австрийцев, а мог встать на сторону швейцарцев или не вставать ни на чью сторону.

– Но ведь он не сражался на швейцарской стороне. Он действовал исподтишка.

– Даже если бы он сражался на стороне швейцарцев, он не мог бы оказать им большей помощи. Если правильный поступок приходится совершать тайком, он от этого не стано-

вится неправильным.

Я стал допытываться, что произошло потом с рыцарем фон Хюненбергом, но дедушка этого не знал.

Битва при Земпахе. Австрийцы снова понадеялись на свое тяжелое вооружение, они снова недооценили боевые навыки и храбрость пастухов и крестьян. Правда, швейцарцам, атакующим клином, до полудня не удастся прорвать боевой строй австрийцев, оцетинившийся копьями. Однако день битвы выдался самым жарким в году, солнце раскалило железные латы всадников, и доспехи становились все тяжелее и тяжелее. К тому времени, когда Арнольд Винкельрид ухватил столько вражеских копий, сколько поместилось в его руках, и, бросившись вперед, накрыл их своим телом, австрийцы были уже слишком изнурены, чтобы противостоять натиску швейцарцев. Они снова потерпели полное поражение.

Поначалу я удивлялся только тому, как это Арнольд Винкельрид, совершая свой подвиг, успел произнести такую длинную фразу: «Граждане Швейцарии, я проложу тропу к свободе. Позаботьтесь о моей жене и детях!»

Однако дедушка не успокоился, пока не втолковал мне, что австрийцы проиграли сражение, потому что не сделали должных выводов из поражения у горы Моргартен.

– Недооценка противника, тяжелое вооружение, превратности, вызванные силами природы, каковыми оказались не вода, а солнце, – избежать ошибок не может никто. Однако никто не обязан повторять одну и ту же ошибку.

Когда я усвоил этот урок, он преподавал мне следующий:

– Полезный урок надо извлекать не только из своих поражений, но также из одержанных тобою побед.

Он рассказал об англичанах, которые во время Столетней войны выигрывали у французов битву за битвой благодаря своим длинным лукам, однако пришли в полное замешательство, когда французы тоже взяли на вооружение длинные луки и успешно применили их в битве.

Битва при Санкт-Якобе-на-Бирсе. Само имя противника – арманьяки – приводило швейцарцев в трепет. Дедушка рассказал об этом тридцатитысячном войске, составленном из французских, испанских и английских наемников, закаленных в Столетней войне, но превратившихся в жестоких разбойников. Французский король более не нуждается в них и охотно предоставляет в распоряжение австрийцев для борьбы со швейцарцами, поставив во главе дофина, жаждущего получить корону. Против них всего полторы тысячи швейцарцев. Их выслали вперед не на битву, это всего лишь передовой разведывательный отряд, однако, ввязавшись в стычку и одержав сначала одну, а потом и другую победу, а потом еще одну, они в конце концов оказались лицом к лицу со всем войском арманьяков. Они отступили, укрылись за стенами карантинного дома церкви Святого Якоба и отражали натиск до самого вечера, сражаясь до последнего человека. Арманьяки победили, но понесли столь большие потери, что им расхотелось воевать и они заключили мир.

– А что в этом поучительного?

Дед засмеялся:

– Даже самые безрассудные дела надо делать с полной самоотдачей. Иногда это приносит успех.

И еще одна тема вызывала у дедушки нескончаемый поток историй – это тема судебных ошибок. Среди них у меня тоже были особенно любимые, которые я готов был слушать снова и снова. И здесь мы тоже обсуждали мораль этих историй. Хотя сами истории были непростые. Ведь несмотря на то, что отличительным признаком судебной ошибки является несправедливость, знаменитые судебные ошибки зачастую приобретали историческое значение, далеко выходящее за пределы несправедливости решения, а порой несправедливость приводила даже к справедливым последствиям.

Процесс графа фон Шметтау против мельника Арнольда. Мельник отказывается платить графу за аренду, потому что ландрат, вырыв пруд для разведения карпов, отвел от мельницы воду, и тогда граф подает на мельника в суд. Граф выигрывает дело в первой, во второй и в последней инстанции, представленной судебной палатой Берлина. Мельник пишет прошение Фридриху Великому, тот, заподозрив за этим решением кумовство, подкуп и подлость, приказывает посадить судей в тюрьму, лишить ландрата должности, засыпать пруд и отменить приговор, вынесенный в пользу графа. Это было чистым произволом и несправедливостью, потому что воды для мельничных колес хватало и так, аренда окупалась, мельник же был мошенником. Однако это рас-

поряжение поддержало авторитет Фридриха как справедливого короля и Пруссии как государства, в котором перед судом все равны – слабые и сильные, бедные и богатые.

В случае с судом над Орлеанской девой несправедливость хотя и не оборачивается справедливостью, однако в итоге приводит к такому результату, который иначе вряд ли был бы достигнут. Шестнадцатилетняя Жанна, красивая крестьянская девочка, появляется при дворе Карла, который слишком слаб, чтобы победить англичан, короноваться в Реймсе и стать французским королем. Франция вот-вот окажется под пятой англичан. Однако происходит чудо: французское войско под предводительством Жанны одерживает победу; ей удается завоевать Орлеан, добиться возведения Карла на французский престол и двинуться с войском на Париж. Тут ее берут в плен и выдают англичанам. Король, который мог бы освободить ее, не предпринимает ничего. Стойкую женщину подвергают пыткам и насилию, епископ Пьер Кошон приговаривает ее к смерти по обвинению в колдовстве, и ее сжигают на костре как ведьму. Однако суд и вынесенный Жанне приговор сделали ее мученицей, символом освобождения Франции, и через двадцать лет англичан удастся изгнать. Как без мельника Арнольда не существовало бы прусское правовое государство, так без Жанны не состоялось бы освобождение Франции.

А вот следующая история была всего лишь ужасной, и ничего более. Впрочем, она и не так знаменита. В 1846 го-

ду Меннон Элькнер, красивая дочь портного-протестанта из Нанси, полюбила Эжена Дюрвиеля, сына палача-католика, и он ответил ей взаимностью. Палач, которому соседка портного рассказала о любовных отношениях юноши и девушки, был против их свадьбы и вырвал у Меннон обещание, что она откажется от Эжена. Девушка страдала вдвойне: она потеряла любимого и ждала ребенка. Она родила двух мертвых мальчиков и закопала их в саду. И тут ее опять выследила соседка; Меннон схватили, обвинили в двойном детоубийстве и приговорили к смерти через отсечение головы. Слушатель уже догадывается, что будет дальше. Однако дело обернулось и того хуже. Эжен заступает на должность палача вместо своего отца и поднимается на эшафот, чтобы совершить свою первую казнь, зная только, что ему предстоит отрубить голову женщине, повинной в двойном детоубийстве. Узнав в несчастной женщине Меннон, он покрывается бледностью, голова у него идет кругом, колени слабеют, руки дрожат. Отец, стоящий тут же, подбадривает его, а чиновники приказывают ему выполнить свою работу. Он дважды ударяет мечом, ранит Меннон в подбородок и в плечо, потом отбрасывает прочь свое грозное оружие, не в силах продолжить казнь. Однако казнь должна свершиться, и честь семьи палача надо спасать – отец, вне себя от ярости, набрасывается на Меннон с ножом, чтобы завершить начатое сыном. С каждым ударом толпа зрителей приходит во все большее негодование. Потом толпа штурмует эшафот.

Бабушка, которая по моей просьбе читала мне стихи о битвах под Лютценом и Гохштедтом, о мельнике Арнольде и о Жанне из Орлеана, знала наизусть и безыскусное непритязательное стихотворение безымянного автора о судьбе прекрасной Меннон. Дедушка доходил в своем рассказе до того места, когда взбунтовалась толпа, и обрывал историю:

– Попроси бабушку. Она лучше умеет рассказать, чем все закончилось.

Всего стихотворения я уже не помню, но две последние строфы звучат примерно так:

Толпа ревет, обрушились камни
На головы жестоких палачей.
А что Меннон, возможно ли спасенье?
Несчастную несут, зовут врачей.
Она жива, к Спасителю зовет,
Но смерть ее от мук телесных избавляет.

Пять жизней суд забрал неотвратимый!
А начиналось все с любви большой,
Продолжилось же казнью нестерпимой.
Как не оплакать жребий наш земной?
Пусть жертвы там, где вечности течение,
Обнимутся, достигнув примиренья.

С войнами, битвами, героическими деяниями, судами и приговорами, которыми так интересовался дед, бабушка соприкасалась только через поэзию. Она считала, что война – это глупая, очень глупая игра, отстать от которой мужчины никак не могут, потому что еще не повзрослели, да, пожалуй, и не повзростеют никогда. Она прощала дедушке его страсть к военной истории, потому что он выступал против употребления алкоголя, пагубной привычки, которую она считала почти такой же злой напастью, как война, и отстаивал избирательное право для женщин, а еще он всегда уважал ее иной, миролюбивый, женский взгляд на вещи и образ мыслей. Возможно, их брак вообще был во многом обязан именно этому уважению и на нем держался. Летом, когда дедушка работал в Италии, его навестила мать. Она приехала напомнить ему, что пора бы создать семью, и перечислила тех девушек, которые, как она предполагала, ему не откажут, если он посватается. А еще она упомянула его кузину, которую встретила на чьих-то похоронах и которая ей очень понравилась. Следующим летом дедушка съездил к своим родителям, поработал на сенокосе и, удовлетворяя свой интерес к истории, в одиночку исходил все окрестности, осматривая замки; так продолжалось до тех пор, пока мать наконец не напомнила ему, что пора бы навестить тетушку. Там он и

встретился с кузиной, которую не видел с самого детства. С фотографии этого времени на нас глядит молодая женщина с густыми темными волосами, живым и гордым взглядом и пухлыми губками, в которых дремлет затаенная чувственность и одновременно готовность к улыбке, словно красавица в следующий миг рассмеется веселым смехом. Интересно, где были глаза у молодых мужчин в ее краях и как получилось, что кузина дождалась своего родственника, у которого к тому времени волосы уже изрядно поредели. В своих мемуарах дед описывает их короткий разговор у окна и как он «был поражен ее умными мыслями, которые она, держась спокойно, уверенно и скромно, изложила своему кузену, склонному в ту пору к заносчивости». После этой встречи между ними завязалась переписка – «о чем мы друг другу писали, в моей памяти не сохранилось», – он в письме предложил ей руку и сердце, она в письме приняла его предложение, через год состоялась помолвка, а еще через год сыграли свадьбу.

Не знаю, были ли они счастливы в браке. Впрочем, я не уверен, имеет ли вообще смысл спрашивать, был ли их брак счастливым и задавали ли они себе этот вопрос. Они прожили вместе целую жизнь, в которой были и хорошие, и плохие дни, они относились друг к другу с уважением и доверяли друг другу. Я никогда не слышал, чтобы они всерьез ссорились, однако часто был свидетелем того, как они поддразнивали друг друга, как шутили и смеялись. Им было приятно и

радостно друг с другом, приятно было показаться на людях рука об руку, ей – с видным мужчиной, каким мой дед стал в старости, ему – с красивой женщиной, какой она до старости оставалась. И все же на них словно бы лежала какая-то тень. Все было словно приглушенным: то, как они радовались друг другу, их шутки и смех, их разговоры обо всем, что ни есть в этом мире. Ранняя смерть моего отца отбросила тень на их жизнь, и тень эта никогда не исчезала.

И это я тоже понял много позже, читая дедовы мемуары. Иногда в разговоре дедушка и бабушка вспоминали моего отца, и это происходило так естественно, и рассказывали они так обстоятельно, что у меня не возникало чувства, будто они не хотят о нем говорить. Так я узнал, какие из дедушкиных историй мой отец любил больше всего, узнал, что он собирал почтовые марки, пел в хоре, играл в ручной мяч, рисовал и много читал, был близорук, хорошо учился в школе и был прилежным студентом юридического факультета, узнал, что он не служил в армии. В гостиной висела его фотография. На ней стройный молодой человек в костюме с брюками-гольф из ткани с рисунком в елочку стоял у стены, опершись правой рукой о карниз и скрестив ноги. Поза его была свободной, но глаза за стеклами очков выдавали нетерпение, словно молодой человек ожидал, что же произойдет дальше, чтобы, если ему это не понравится, не мешкая заняться чем-то другим. В чертах его лица я заметил ум, решимость и некоторую заносчивость, но, быть может, я подум-

мал так, потому что сам хотел обладать такими же свойствами характера. Глаза его были посажены, как и мои, чуть раскосо, один глаз немного больше другого. Иного сходства со мной я в нем не заметил.

Мне этого было вполне достаточно. Мама никогда не говорила о моем отце, и в доме не было его фотографий. От бабушки с дедушкой я слышал, что он отправился на войну как сотрудник швейцарского Красного Креста и погиб. Не вернулся с войны, пал, пропал без вести – эти формулы безвозвратности я слышал в детстве так часто, и они долгое время представлялись мне могильными плитами, которые не сдвинешь с места. Портретные фотографии мужчин в военной форме, иногда с черным флером, прикрепленным к серебряной рамочке, которые я видел в домах моих школьных товарищей, вызывали во мне такое же болезненное впечатление, как и маленькие фотографии покойников, которые в некоторых странах помещают на могильном камне. Люди словно бы не хотят оставлять мертвецов в покое, вытаскивают их на свет, даже в смерти требуя от них военной выправки. Если для вдов это единственный способ зримо поминать своих мертвых мужей, то уж лучше бы они, как моя мама, отказались от этой зримой памяти.

Как бы ни далеко от меня был мой умерший отец, одно нас с ним все-таки связывало. Бабушка рассказала мне однажды, что отец любил стихи и что самой его любимой была баллада Теодора Фонтане «Джон Мейнард». В тот же вечер я

заучил ее наизусть. Бабушке это понравилось, и многие годы подряд она то об одном, то о другом стихотворении говорила, что его любил мой отец, и я сразу учил это стихотворение наизусть. Быть может, она, зная наизусть много стихов, просто одобрительно относилась к тому, что я по вечерам учил стихи?

После ужина бабушка и дедушка убирали со стола, мыли посуду, поливали цветы в саду, а потом принимались за работу – они редактировали серию «Романы для удовольствия и приятного развлечения». Они садились за обеденный стол, опускали пониже лампу, висевшую под потолком, и принимались читать и править рукописи, длинные полосы гранок и сверстанные книги, сложенные по формату журнальной тетрадки. Иногда они сами садились писать; они настояли на том, чтобы в конце каждого выпуска серии помещалась краткая поучительная и познавательная статья, и, если таковой не было, сами ее сочиняли: о важности чистки зубов, о борьбе с храпом, о разведении пчел, о развитии почтового дела, о регулировании течения реки Линт Конрадом Эшером, о последних днях Ульриха фон Гуттена³. Они порой и романы переписывали, если считали, что какой-то пассаж написан беспомощно и выглядит неубедительно или непристойно, или же если им в голову приходила более удачная мысль. Издатель предоставил им полную свободу. Когда я сделался постарше и меня перестали укладывать в постель сразу

³ *Ульрих фон Гуттен* (1488–1523) – немецкий писатель-гуманист, видный деятель Реформации; после провала антипапского восстания бежал в Швейцарию, где вскоре умер; последние дни провел в убежище на острове Уфенау на Цюрихском озере.

после того, как пропоет дрозд, дед разрешал мне посидеть с ними за одним столом. Мы сидели в световом кругу лампы, низко опущенной над светлой столешницей, огромная комната тонула в полумраке. Мне нравилась эта атмосфера, я чувствовал себя уютно. Я что-нибудь читал или учил наизусть стихотворение, писал письмо маме или делал записи в моем каникулярном дневнике. Если я обращался к бабушке и бабушке с вопросом, отвлекая их от работы, они всегда терпеливо отвечали. И все же я не смел надоедать им, я видел, насколько они поглощены работой. Они обменивались друг с другом скупыми репликами, и я с моими расспросами чувствовал себя пустомелей. Вот я и читал, учил стихи и писал, не нарушая тишины. Иногда я осторожно, чтобы они не заметили, поднимал голову и глядел на них: на деда, карие глаза которого были очень внимательны, когда он работал, но могли и отрешенно смотреть вдаль, и на бабушку, которая все делала с необычайной легкостью, читала с улыбкой, писала и правила рукописи легкой и быстрой рукой. А между тем работа ей, наверное, давалась тяжелее, чем деду; он любил книги по истории, а к романам, которые они редактировали, относился деловито и отчужденно, она же любила литературу, любила романы и стихи, обладала непогрешимым литературным вкусом и, должно быть, страдала оттого, что ей приходилось иметь дело с банальными поделками.

Мне эти романы читать не позволялось. Время от времени, когда они обсуждали какую-нибудь книгу, во мне про-

сыпалось любопытство. На мои расспросы они отвечали, что роман этот мне вовсе читать не надо: предмет, о котором в нем идет речь, гораздо лучше изложен в романе или новелле Конрада Фердинанда Мейера, или Готфрида Келлера, или какого-нибудь другого классика. Бабушка вставала из-за стола и приносила мне эту самую «гораздо лучшую» книгу.

Вручая мне при отъезде лишние сверстанные экземпляры, которые могли пригодиться дома для черновиков, они строго-настрого наказывали мне не читать, что там написано. Лучше бы уж они мне вообще ничего не давали! Однако бумага тогда стоила дорого, а мама зарабатывала мало. Поэтому долгие школьные годы все, что не нужно было сдавать учителям на проверку, я записывал на чистой стороне «оборотки»: латинские, английские и греческие слова, задачки по арифметике и геометрии, черновики сочинений, изложений и описаний картин, названия столиц, рек и гор, исторические даты, послания, адресованные соученикам и соученицам, сидящим несколькими партами дальше. Бумага для сверстанных романых тетрадок была прочная, а сами тетрадки были почти в сантиметр толщиной; я одну за другой отрывал исписанные страницы, тетрадки становились тоньше и тоньше, однако скрепки по-прежнему удерживали на сгибе клочья бумаги, остававшиеся от вырванных листов. Мне нравятся толстые тетради с листами из плотной бумаги. И поскольку я был послушный ребенок, я много лет подряд держал обещание и не читал того, что было написано на обороте.

Поначалу дедушка и бабушка считали, что летняя жизнь у них для меня слишком одинока, и они пытались познакомиться меня с детьми моего возраста. Они знали своих соседей, переговаривали с несколькими семьями и в конце концов достигли того, что меня стали приглашать на дни рождения, загородные экскурсии и в совместные походы в купальню. Я видел, как они старались ради меня, добиваясь этих приглашений, и не решался их отклонять. Однако я каждый раз радовался, когда общение со сверстниками кончалось и я снова оказывался дома у бабушки с бабушкой.

Порой я не понимал местных детей, говоривших на здешнем диалекте. Я не понимал с полуслова, о чем они говорят. Вся система школьного обучения, все их школьные дела и внешкольные развлечения, вся их социальная организация – все это было совершенно иным, чем у меня на родине. Они возвращались домой не сразу после уроков, а после организованных школой спортивных мероприятий, после спевки в хоре или театральных репетиций, возвращались только в четыре или в пять часов, а я после школы вместе со своими товарищами всю вторую половину дня был предоставлен сам себе. И хотя наши уличные шайки и войны, которые мы между собой вели, были совершенно безобидными, они никак не подготовили меня к добропорядочным играм благовоспи-

танных швейцарских детей.

Даже в купальне они вели себя не так, как мы. В воде никто не устраивал потасовок, никого не сталкивали в воду, не окунали в нее с головой. Девочки и мальчики вместе и на равных правах играли в водное поло, играли ловко и по правилам. Купальня представляла собой деревянную конструкцию, уходящую с берега в озеро; деревянная клеть размером двадцать метров на двадцать располагалась под водой, обеспечивая перепад глубины от метра до метра семидесяти, держалась она на сваях, с трех сторон ее обрамляли кабинки для переодевания и деревянные мостки, и в этой купальне барахтались те, кто не умел плавать; с четвертой стороны купальня была открыта к озеру, и, чтобы заплывать в него, нужно было поднырнуть под канат. Как-то раз, стараясь произвести впечатление на швейцарских детишек, я из чистого социального протеста взобрался на крышу самой дальней кабинки для переодевания и прыгнул прямо в озеро.

Возможно, эти встречи и общение могли бы перерасти в приятельские отношения и дружбу, если бы мы виделись почаще. Однако почти сразу после того, как я приезжал к бабушке и бабушке, швейцарских детей распускали на каникулы, а бывало так, что они уезжали еще раньше и возвращались незадолго до моего отъезда. С одним мальчиком я сошелся поближе на почве общего интереса к полярным экспедициям. Нас интересовало, был ли Кук обманщиком, а Пири – дилетантом, был ли Скотт великим человеком, или безум-

цем, или тем и другим вместе, двигало ли Амундсенем голое тщеславие, или он выполнял миссию. Отцу моего друга я, кажется, тоже понравился.

«У тебя глаза как у твоего отца», – сказал он мне, увидев меня в первый раз. Он произнес это с дружелюбной и печальной улыбкой, которая смутила меня больше, чем его слова. Однако вопреки всем благим намерениям, которые были у меня и у этого мальчика, нам так и не удалось наладить друг с другом переписку.

Так вот и получилось, что на каникулах у меня не было товарищей моего возраста, с которыми я мог бы играть. И я снова совершал все те же прогулки к озеру, пешие походы к ущелью, к дальнему пруду и на возвышенности, с которых открывался вид на озеро и на Альпы. Я снова совершал все те же вылазки в замок в Рапперсвиле, на остров Уфенау, в большой монастырь, в музеи и в картинную галерею. Регулярные пешие походы и вылазки были такой же неотъемлемой частью каникул, как и работа в саду. Собирать яблоки, ягоды, салат и овощи, мотыжить грядки, полоть сорняки, срезать увядшие цветы, подстригать живую изгородь, стричь траву, укладывать компост, заполнять лейки водой и поливать огород и цветы – все эти работы повторялись по заведенному порядку, поэтому порядок всех других занятий мне представлялся естественным. К естественному ритму каникул относились и похожие один на другой вечера за столом под лампой.

В моих воспоминаниях каникулы остались тем временем, когда я дышал всей грудью, ровно и глубоко. Мои каникулы предвещали мне размеренную жизнь. Жизнь, исполненную повторений, в которой все время происходит одно и то же, меняясь разве что самую малость, жизнь у озера, волны которого накатывались равномерно одна за другой, и ни одна новая волна не была точно такой же, как предыдущая.

Правда, одно лето выдалось непохожим на другие. Целое лето у меня была подружка по играм. Девочка из маленькой деревеньки в Тессине приехала на каникулы к своей двоюродной бабушке, которая жила с нами по соседству. Отношения у них не заладились. Бабушка, болезненная и с трудом передвигавшая ноги, надеялась, что внучатая племянница будет читать ей вслух, раскладывать с нею пасьянсы и вышивать. А внучатая племянница мечтала о большом городе, расположенном неподалеку. К тому же бабушка почти не говорила по-итальянски, а внучка по-немецки.

При этом Лючия обладала даром просто не замечать языкового барьера. Когда через забор, отделявший нас от соседей, она заговорила со мной по-итальянски, а я по-немецки ответил, что не понимаю, она продолжала говорить так, словно бы я осмысленно поддержал начатую ею беседу. Потом она помолчала, пока я произносил несколько слов о школе, где учил латинский язык, а потом снова застрекотала. Она смотрела на меня сияющим взором, полным надежды и ободрения, и я тоже стал о чем-то с ней говорить; я рассказывал обо всем, что мне приходило в голову, а потом попытался переделать латинские слова, которые выучил в школе за два года, в слова итальянские. Она рассмеялась, и я рассмеялся в ответ.

А потом пришел дедушка, он обратился к ней на итальянском языке, и она ответила целым каскадом слов, фраз, взрывов смеха и радостных восклицаний, буквально переполнившись счастьем. Щеки ее пылали, темные глаза блестя, а когда она, смеясь, мотала головой, ее каштановые локоны разлетались во все стороны. На меня вдруг нахлынуло какое-то чувство, в котором я еще не мог разобраться, не знал, что это такое и как это называется, однако я ощутил всю его силу. Прекрасное мгновение, соединившее было нас, вдруг потеряло свою ценность. Лючия предала его, а я проявил слабость. Впоследствии, уже взрослым, мне довелось испытать и более сильные муки ревности, но никогда больше я не бывал так незащищен перед ее терзаниями, как в тот первый раз.

Ревность прошла. Тем летом во всех совместных прогулках, на которые мы с дедушкой брали с собой Лючию, она всегда давала мне понять, что я и она – заодно, как бы они ни флиртовали друг с другом по-итальянски.

«Она вас обоих просто обворожила», – шутила бабушка, когда мы с дедом прихорашивались перед очередной встречей с Люцией. На пароходную прогулку по озеру на остров Уфенау вместе с нами, как всегда, отправилась и бабушка; она обожала Конрада Фердинанда Мейера, помнила наизусть его поэму «Последние дни Гуттена» и на острове, куда мы высадились, радовалась встрече с поэтом, с его стихами и с поэзией вообще. Она тоже была очарована Люцией,

ее восторгами, непосредственностью и веселостью. Когда мы плыли обратно и я вместе с Люцией сидел напротив них, дед взял бабушку за руку, – это было единственное проявление нежности, которое мне довелось наблюдать между ними. И сегодня я спрашиваю себя: может быть, они всегда мечтали о дочери, а может быть, дочь у них и была, а они ее потеряли? В ту пору я был просто-напросто счастлив, день, проведенный на острове, был прекрасен, вечер на озере был прекрасен, дедушка с бабушкой любили нас и любили друг друга, а Люция тоже держала меня за руку.

Был ли я в нее влюблен? В любви я смыслил так же мало, как и в ревности. Я радовался встречам с Люцией, скучал по ней, расстраивался из-за несостоявшихся встреч. Был счастлив, если была счастлива она, был несчастен, если она была несчастна, а еще больше – если она злилась. Она могла рассердиться в одну секунду. Если что-то у нее не получалось, если я не понимал ее или она не понимала меня, если я не был к ней столь внимателен, как она этого ожидала. Очень часто она сердилась на меня совсем несправедливо, однако спорить с ней о справедливости было бесполезно из-за языкового барьера, хотя я правильно переделал латинское *iustitia* в итальянское *giustizia*. Думаю, что Люции дискуссии о справедливости все равно были бы неинтересны. Я научился принимать ее веселость и раздражение как перемену погоды, с которой ведь не поспоришь, а только воспринимаешь ее либо как радостную, либо как грустную.

Мы очень редко оставались наедине друг с другом. Лючия раскладывала со своей бабушкой пасьянсы и вышивала, массировала ей голову и растирала ступни, слушала рассказы старушки.

«Если уж она меня не понимает, то пускай хотя бы послушает», – говорила ее двоюродная бабушка моей бабушке, напрасно пытавшейся встать на сторону Лючии. Лючии хотелось как можно чаще участвовать во всем, чем были заняты мы с дедом, – в прогулках, походах и вылазках, в работе в саду. Однажды мы даже взяли ее собирать лошадиные яблоки. Иногда мы сидели в нашем жилище, которое с помощью деда устроили на ветвях яблони. Правда, как всегда бывает, само обустройство жилища было намного интереснее, чем игры уже в готовом домике, а кроме того, незнание языка доставляло нам меньше неудобств, когда мы вместе что-то делали. Когда каникулы подошли к концу, мы даже не обменялись адресами. Какой нам от них прок?

А еще я совершенно не понимал, что такое красота. Жизнь и подвижность Лючии, ее внимание, ее интерес, ее танцующие локоны, глаза, взор, губы, смех, брызжащий и захлебывающийся, веселье, серьезность, слезы – все это было слито воедино, и я не мог разложить это единство на отдельные части, на ее характер, поведение и внешний вид. Вот только складочки на лбу у Лючии оказывали на меня особое воздействие. Лоб над левой бровью был у нее совершенно гладким, и вдруг на нем появлялась милая ямочка. Эта ямочка

выражала беспомощность, растерянность, разочарование и печаль. Меня эта ямочка очень трогала, ведь она словно обращалась ко мне, когда сама Лючия не хотела или не могла со мной говорить. Эта ямочка появлялась, радуя меня и тогда, когда Лючия злилась, пусть ее раздражение и расстраивало меня и я всю старался не разозлить ее еще больше, обнаружив свое веселье.

Когда я несколько лет спустя влюбился в свою одноклассницу, я уже понимал, что такое красота, любовь и ревность, и за теми переживаниями, которые у меня при этом возникли, совсем затерялся тот опыт бессознательной любви, которую я испытал к Лючии. У меня было такое чувство, что я влюбился впервые. Я даже позабыл про подарок, который Лючия преподнесла мне на прощание.

Утром, накануне своего отъезда, она зашла к нам – мы были в саду, и она по привычке принялась было помогать. Она прощалась с садом, с моими дедушкой и бабушкой; весь день ей предстояло провести со своей двоюродной бабушкой, а наутро времени останется разве что на короткое прощание. Я проводил ее до дома, и она показала мне на дверь в подвал, расположенную со стороны сада: «Приходи сюда в шесть часов, я открою».

Это была дверь в домовую прачечную. Я приоткрыл ее ровно настолько, чтобы проскользнуть внутрь, и сразу же закрыл за собой, увидел большой медный котел для кипячения белья, корыта и ведра, стиральную доску и бельевой валец,

ощутил запах свежестиранного белья. На растянутых веревках висели белые полотенца. Два окна были больших размеров, но сквозь решетки, густо поросшие виноградом, свет почти не пробивался. Вся прачечная словно погрузилась в зеленоватую полутьму.

Лючия уже ждала меня. Она стояла в другом конце помещения, прижав пальчик к губам, я тоже стоял молча и не шевелился. Мы смотрели друг на друга, потом она наклонилась вперед, двумя руками взялась за подол юбки, высоко задрала его и показала мне свою плоть. Она кивнула мне, и я понял, чего она хочет, расстегнул ремень и пуговицы на моих коротких штанишках, спустил их вместе с трусами и выпрямился. Моя плоть еще ни разу не возбуждалась, не пошевелилась она и на этот раз. В отличие от Люции, у меня на лобке волос еще не было. И все же я стоял перед ней с пылающим лицом и сильно колотящимся сердцем, стоял, полностью охваченный желанием, хотя я и не знал, на что это желание направлено.

Мы какое-то время неподвижно стояли друг против друга. Потом Лючия засмеялась, выпустила край юбки из правой ладони и подошла ко мне.левой рукой она по-прежнему удерживала юбку вверху, демонстрируя мне краешек голого живота, голые бедра и плоть, и я не мог решиться, продолжать ли мне смотреть вниз или глядеть ей в лицо, которое возбуждало меня так же, как ее нагота. Подойдя ко мне, она правой рукой обхватила мою голову, быстро прижалась

губами к моим губам, и мое тело на короткий миг ощутило теплоту ее тела. Потом она повернулась ко мне спиной и выскользнула в другую дверь, ведущую в дом, прежде чем я пришел в себя. Я услышал, как она пробежала по коридору, взбежала по лестнице, а потом открыла и захлопнула за собой еще одну дверь.

Не после этого ли события я начал читать то, что было написано на запрещенной стороне верстки? Не пробудил ли роман, который был у нас с Лючией, мою страсть к чтению романов? Или это случилось много позднее, просто от скуки? Во время какого-нибудь очень скучного урока в школе? Или при выполнении скучных домашних заданий? А может, во время поездок на поезде, когда у меня не было с собой ничего другого, что бы почитать? Когда мне исполнилось тринадцать, мама вместе со мной переехала из города в деревню, где она купила скромный домик, и мне приходилось ездить в школу по железной дороге.

В первом романе, который я прочитал, рассказывалось о немецком солдате, бежавшем из русского плена и по пути домой пережившем много опасных приключений. Все эти приключения скоро стерлись у меня из памяти. А вот его возвращение домой запомнилось. Солдат добирается до Германии, он приходит в город, где живет его жена, отыскивает дом, квартиру. Он звонит в дверь, и ему открывают. На пороге стоит жена, такая же красивая и молодая, какой он помнил ее долгие годы, находясь на войне и в плену, нет, она стала еще красивее, и хотя выглядит немного старше, это ей идет, она расцвела, стала более женственной. Однако она смотрит на него без радости, с ужасом, словно он – призрак, а на ру-

ках у нее маленькая девочка, ребенку нет и двух лет, а еще одна девочка, постарше, прижимается к матери, смущенно выглядывая из-за ее юбки, а рядом с женой стоит какой-то мужчина, положив ей руку на плечо.

Борются ли эти двое мужчин за женщину? Знали ли они друг друга раньше? Видят ли они друг друга в первый раз? Тот, что обнимает женщину за плечи, – не обманул ли он ее, сказав, что другой, ее муж, погиб? Или, может быть, он выдал себя за этого другого, когда вернулся с войны или из плена? Влюбилась ли в него женщина без оглядки, ищет ли она с ним свое новое счастье? Или она сошлась с ним из нужды, без любви, потому что без его помощи не выдержала бы всех бед, которые ей пришлось пережить как беженке, и не смогла бы начать жизнь заново? Или ей нужен был мужчина, который позаботился бы о ней и ее первой дочери – о первой дочери, которая вовсе не дочь нового мужа, – ее отец стоит тут, на пороге, оборванный, потерявший веру, отчаявшийся?..

Ничего этого я не узнал. Из тетрадки с версткой я давно уже вырвал первые страницы и выбросил их. Первые страницы как раз и были последними страницами недочитанного мной романа.

Я хотел дочитать роман следующим летом. Последние страницы отсутствовали, но титульный лист с именем автора и названием сохранился. Я знал, что дедушка и бабушка хранят серию в своей спальне; книги заполняли все полки в узком высоком шкафу.

Я подумал, что отыскать нужный роман будет нетрудно. Обычно сброшюрованная верстка не имела номера выпуска, под которым книга выходила в серии и в соответствии с которым ее ставили на полку, но поскольку верстку этого романа мне дали прошлым летом, а ежемесячно публиковалось по два романа, то я решил, что отыщу роман среди последних двадцати четырех номеров. Однако я ее не нашел. Мне было известно, что бабушка с дедушкой иногда изменяли название романа, и я стал искать книгу по фамилии автора, но и в этом случае мои поиски не увенчались успехом. Тогда мне в голову закралось подозрение, что они изменили не только название, но и фамилию автора, и я стал искать книгу по первым страницам текста. Мне не удалось найти роман ни по названию, ни по фамилии автора, ни по началу. Я стал искать среди книг, выходивших раньше, вытаскивая одну тетрадку за другой, но романа так и не нашел, правда, я проверил не все четыреста номеров. Первая неделя была солнечная, а потом зарядили дожди до самого конца кани-

кул. В саду бабушка и дедушка больше не работали, поэтому у меня не было возможности под каким-нибудь предлогом подняться по лестнице, забраться в их спальню и продолжить поиски.

Следующим летом я об этом романе и не вспомнил. Это были последние каникулы, которые я с начала и до конца провел у бабушки с бабушкой. Мои друзья и подружки совершали совместные путешествия или по школьному обмену отправлялись в Англию или во Францию. Мне предлагали принять участие в совместном велосипедном туре, но, увы, мне это было не по карману. Хотя я вот уже полгода как разносил журналы и неплохо зарабатывал, лишних денег у меня не было. Мне приходилось самому тратить на одежду и книги; моя мама залезла в долги, купив собственный дом.

Я был расстроен, что не мог отправиться в поездку с товарищами, но в то же время я радовался тому, что проведу каникулы у бабушки с дедушкой. Меня всегда злило, когда мама продолжала обходиться со мной как с ребенком и начинала воспитывать. У бабушки с дедушкой мне нравилось, что со мной обходились как с ребенком, которого принимают таким, какой он есть, и при этом любили меня и относились ко мне серьезно. Я радовался тому, что снова буду просыпаться в своей постели под картиной Штюкельберга «Девочка с ящеркой», помогать бабушке готовить на кухне и просить ее прочитать какое-нибудь стихотворение, звать дедушку на кухню, отрывая его от дум о немцах, рассеянных

по всему миру, а вечером сидеть вместе с ними за светлым столом. Я предвкушал запах бабушкиной туалетной воды в ванной комнате, радовался тому, что вновь увижу комнатную липку в дедовом кабинете, посуду с красными цветочками по ободку, столовые приборы с ручками из слоновой кости, большую стеклянную сырницу с крышкой. Я радовался предстоящей летней тишине, летним шумам и запахам.

Каникулы не обманули моих ожиданий. Мои воспоминания о доме и саде, о городке, об озере и окружающей природе наполнены картинками, которые запечатлелись у меня тем последним летом.

Поступив в университет, я приезжал к бабушке и дедушке на короткое время: на несколько дней перед Рождеством или после, на несколько дней после окончания весеннего семестра или перед началом зимнего. Я посылал дедушке свои письменные работы, думая, что они будут ему интересны. Он сразу отвечал мне одобрительным письмом; вопросы и критические замечания, которых у него возникало достаточно, он придерживал до нашей следующей встречи. Он собирал для меня вырезки из газет, главным образом о положении немцев в Силезии, Семиградье⁴ и Казахстане, чему, по его мнению, я уделял недостаточно внимания. Раз в семестр я получал от них бандероль с кипой газетных вырезок, с сушеными яблоками, приготовленными бабушкой для меня, и

⁴ Семиградье (нем. Siebenbürgen – Зибенбюрген) – имеется в виду Трансильвания.

с пятимарковой купюрой.

Зимой перед экзаменами я побоялся, что не успею толком подготовиться, и решил не ездить на Рождество к бабушке и дедушке. Однако они написали мне, чтобы я обязательно приехал. Хотя бы ненадолго. Дело не терпит отлагательств.

Они всегда содержали свой дом в большом порядке. Когда я приехал к ним в последний раз, порядок был прямо-таки пугающий. Дедушка и бабушка избавились от всех вещей, в которых не было особой надобности и которые, по их мнению, не заинтересовали бы меня, их единственного внука. В дом престарелых они переезжать не желали. Они хотели сохранить свое жилище. Однако они готовились к смерти и не хотели, чтобы их окружало что-то лишнее и ненужное.

Они обошли со мной все комнаты, спрашивая, что бы я готов был себе оставить. Некоторые знакомые мне вещи уже исчезли, а шкафы и стеллажи были наполовину пусты. Мне хотелось сохранить все, ведь все было связано с воспоминаниями и все, что дедушка и бабушка ради меня оставили бы в доме, удерживало бы их в этой жизни, но они с той будничной простотой, с которой готовились к смерти, невозможно объяснили мне, что я могу забрать лишь немногие вещи. Я, как студент и будущий референдарий⁵, вряд ли сниму большую квартиру, а платить за место на мебельном скла-

⁵ *Референдарий* – в Германии: стажер, соискатель юридической должности.

де у меня тоже денег не хватит. Мне нужно только то, что поместится в одной комнате. Может быть, дедушкины письменный стол и кресло? Его книги по истории? Или бабушкины книги? Готхельф, Келлер и Мейер? Или фотография с изображением прядильной фабрики, которой управлял дед? У меня стоял комок в горле, я не мог говорить и только кивал на все их предложения.

Все «Романы для удовольствия и приятного развлечения» по-прежнему стояли на полках. Их мне бабушка с дедушкой не предложили, а сам я не стал просить. Они бы мне их точно не дали. Мне бы пришлось признаться, что однажды я поступил вопреки их наставлениям и прочитал сначала роман о солдате, вернувшемся домой, а потом и другие романы. Дедушка и бабушка отказались продолжать редактирование серии, и она после этого была прекращена, но старики гордились выпущенными романами, о которых редактор издательства «Киоск» в Берне всегда отзывался как о лучших в своем роде. Кроме того, при всей серьезности своих предсмертных приготовлений бабушка и дедушка, как ни странно, сохраняли веселое настроение. В те несколько дней, что я провел у них после Рождества, я часто готов был расплакаться, а они вот нисколько.

Когда я от них уезжал, дед, как всегда, проводил меня на вокзал. Как всегда, он выбрал для меня нужный вагон и нужное купе. Вагон – в середине поезда, потому что при столкновении поездов здесь бывает безопаснее всего, а купе он

выбрал с попутчицей – дамой солидного возраста, которой он меня представил, сообщив, что я его внук и направляюсь домой, и попросил ее присмотреть за мной в дороге. Как всегда, он не разрешил, чтобы я, обняв его на прощание, проводил на перрон. Я высунулся в окно и смотрел, как он выходит из поезда и идет по платформе; в конце перрона он обернулся, помахал мне, а я помахал ему в ответ.

Через несколько недель дедушку и бабушку задавил автомобиль. Они пошли в деревню за покупками и уже возвращались домой. Водитель был пьян и заехал на тротуар. Бабушка умерла еще до приезда «скорой помощи», дедушка умер в больнице. Он умер сразу после полуночи, но я решил, что на могильной плите дата смерти у бабушки и дедушки будет одна и та же.

Часть вторая

1

Дедовы письменный стол и кресло сохранились у меня до сих пор. Остались и книги дедушки с бабушкой, и фотография прядильной фабрики. Письменный стол и кресло сначала стояли в моей комнате в материнской квартире, потом в моей первой собственной квартире – одна комната, кухонный уголок, душевая кабина да вид из окна на вокзал, – а потом я перевез их в одну из обычных в то время запущенных квартир в старом фонде – с высокими потолками, лепниной и двустворчатыми дверями, мы с моей подругой туда переехали, когда она родила ребенка. Когда мы расстались и я выехал из квартиры, письменный стол и кресло вместе с другими вещами я сдал на склад на хранение.

Я не мог оставаться, мне надо было уехать от красивой, взбалмошной и неверной подруги, уехать от ее вечно хнычущего, сучащего ножонками сына, уехать из города, в котором я вырос, в котором ходил в школу и в университет и в котором меня повсюду подстерегали воспоминания. Я собрал всю волю в кулак, бросил место ассистента, не имея другой работы, продал швейцарские облигации, которые получил в наследство от дедушки с бабушкой, и уехал.

Собственно, в отказе от места ничего особенно героического не было. Написав кандидатскую диссертацию, я шесть лет просидел над докторской, но так ее и не закончил. Я давно понял, к чему идет дело, но долгое время не признавался себе в этом. «Польза справедливости» – это была дедова тема, по ней существовала груда интересной литературы, и простор мыслям был огромный. Однако мои мысли никак не складывались в систему, а были скорее случайными, связанными с разного рода судебными казусами – дедовы размышления на дедову тему. Я тщился доказать, что справедливость лишь тогда приносит пользу, когда ее постулаты теоретически обосновываются и практически реализуются без оглядки на ее общественную полезность. *Fiat iustitia, pereat mundus*⁶ – я действительно считал, что именно эти слова следует принять как девиз справедливости, и если мир считает, что подчинение требованиям справедливости приведет его к гибели, то он волен их отвергнуть и нести за это ответственность, справедливость же не обязана умерять строгость своих требований.

Я собирал многочисленные примеры, брал их из рассказов деда, из показательных процессов Фрайслера⁷ и Хильды Беньямин⁸, из решений Конституционного суда, который не

⁶ Пусть погибнет мир, но восторжествует закон (*лат.*).

⁷ Роланд Фрайслер (1893–1945) – председатель Народной судебной палаты в фашистской Германии; за свою жестокость получил прозвище «судья-вешатель».

⁸ Хильда Беньямин (1902–1989) – вице-председатель Верховного суда Герман-

стремился отстаивать право и справедливость, а старался осуществить функцию политического посредничества и примирения или служить общественной пользе каким-нибудь иным образом. Разумеется, Фридрих Великий, епископ Пьер Кошон, Фрайслер, Хильда Бенъямин и судьи Конституционного суда по-разному представляли себе, что такое справедливость. Однако, как я считал, я смогу доказать следующее: они, вынося свои политические приговоры, осознавали, что служат не одной только справедливости, независимо от того, что они под справедливостью понимали, а и другим целям. Эти самые другие цели были столь же различны, как различны были их представления о справедливости: благо короля или церкви, классовая или расовая борьба, политический мир. Правда, в одном они сходились – в том, что эти цели были для них важнее справедливости, под знаком которой проводилось судебное разбирательство и выносилось решение.

Так-то оно так. Только вот каким образом привести в систему, взвесить и оценить тот вред, который они причинили, и пользу, которую они принесли, пользу и вред для справедливости и для общества, пользу и вред относительно ближайшей и дальней перспективы? В конце концов мне осточертели не тема и не материал, а собственные мысли, не желавшие складываться в систему, в которую им следовало сло-

ской Демократической Республики (1949–1953); известна своими непомерно суровыми приговорами.

житься. Мне осточертело бесконечное множество слов, прочитанных, передуманных и написанных мною. Мне захотелось покинуть не только мою подругу, ее ребенка и город, но и уехать прочь от этой толпы слов.

Собственно говоря, в моем внезапном отъезде тоже не было ничего особенно героического. Я намеревался провести в Америке несколько месяцев, и хотя еще ни разу не уезжал так надолго и так далеко в одиночку, но в Нью-Йорке и Сан-Франциско у меня были адреса, по которым я мог остановиться, и была надежда, что в Ноксвилле и Хэндсборо, расположенных на моем маршруте от Восточного к Западному побережью, возможно, отыщутся еще какие-нибудь родственники. Чего же мне было бояться?

Однако за несколько дней до отъезда я чувствовал себя отвратительно. Я не боялся, что мой самолет разобьется, а поезд сойдет с рельсов. Так мне и надо, если мое путешествие неожиданно закончится тем, что самолет упадет в Атлантический океан. Я испугался чужбины, которая вдруг представилась мне чем-то устрашающим и ужасным, испугался утраты всего привычного и знакомого, всего, что вдруг стало мне казаться единственно для меня подходящим, отвечающим моей сущности и благорасположенным ко мне. Дедова ностальгия навалилась на меня еще до того, как я отправился в путь. Я едва удержался, чтобы не сказать подруге: не лучше ли нам вновь сойтись и оставить все по-старому? Зато во время самого путешествия ностальгия меня совсем

не мучила.

Южнее Сан-Франциско я попал в настоящий рай. Там цвели сады, простирались луга, уютно вписывались в ландшафт немногочисленные невысокие здания, отгороженные от шоссе лесом, вниз к океану спускались каменистые террасы, все было залито солнцем, теплом и наполнено запахом моря и цветов. В зданиях располагался ресторан, общие залы и номера ровно на шестьдесят постояльцев. В залах и на близлежащих лужайках рая нас обучали йоге, гимнастике тай-ши, медитации, правильному дыханию и массажу. На сеансах групповой терапии – я сейчас уже не помню, как эти сеансы назывались и какие методы там применяли, – кроткие люди учились впадать в буйство, а буйные и крикливые – становиться кроткими и тихими. По одной из каменистых террас стекали горячие воды сернистого источника, заполняя бассейн, в котором можно было провести хоть целую ночь, глядя в звездное небо и прислушиваясь к шуму прибоя. Через какое-то время ход мыслей замедлялся, потом мысли словно исчезали куда-то, исчезали и мечты. И голова обретала покой.

Если бы пребывание там обошлось подешевле, я бы остался еще на неделю, на месяц, на год, целиком отдаваясь этому волшебству. Потратив за три недели половину своей наличности, я услышал от кого-то, что в Сан-Франциско есть институт, где за три месяца обучают ремеслу массажиста. Из всех удовольствий, полученных мной в этом раю, массаж

произвел на меня самое сильное впечатление. Я и не предполагал, что телесный контакт с другим человеком, контакт без слов, без секса и эротики, может быть таким интенсивным, что чьи-то руки могут касаться тебя и доставлять ни с чем не сравнимое умиротворение, что массируемые тела могут становиться такими прекрасными и что массаж, который делаешь счастливому человеку, приносит тебе счастье, а массируя изнеможенного человека, ты приводишь в изнеможение себя. Я хотел стать своим человеком в этом мире телесных ощущений. Стоимость обучения была вполне сносной. Один мой знакомый в Сан-Франциско, художник, готов был предоставить мне комнату в своей большой квартире. Грусть, вызванную расставанием с райским местом, развеял мой тамошний учитель. «Тебе не стоит печалиться, что ты покидаешь эти места, – сказал он. – Скорее нужно радоваться, ведь ты в любой момент можешь сюда вернуться».

Я три месяца ходил на занятия в институт, сам массировал других, другие массировали меня, слушал лекции по анатомии и по этическим и экономическим аспектам профессионального массажа, а по выходным зубрил латинские названия костей и суставов, мышц и жил и учился произносить их с американским акцентом, в последнюю же неделю разрабатывал тот вариант массажа, который я должен был показать на экзамене. Я был счастлив оттого, что учусь, радовался своему плохому американскому произношению, которое уберегало меня от искушения говорить умно и с юмо-

ром, был счастлив, что слова не играли никакой роли в том, чем я занимался. У меня было такое чувство, будто я живу в новом мире и по отношению к прежнему миру мне удалось создать необходимую дистанцию. Иногда меня слегка сбивали с толку насмешливые замечания художника, с которым мы подружились. Он говорил, что я учусь на массажиста как истый трудоголик и чудовищный аккуратист. Я настоящий супернемец суперпротестантского пошиба. Что такое сотворила со мной моя матушка? Что такое сделал я сам с собой?

Сидя в самолете, летевшем в Германию, я в мечтах строил планы, как бы я жил в Калифорнии, работая массажистом. В поезде, по дороге из аэропорта в родной город, проезжая по местности, заселенной словно по линейке, мимо чистеньких городов с аккуратно покрашенными домами, ухоженными палисадниками, низенькими заборчиками и мокрыми от дождя, сияющими чистотой улицами, я с ужасом понял, насколько этот мир ненастоящий и все в нем не так, понял, что я его неотъемлемая часть и никогда не смогу из него вырваться. Это было просто невозможно.

На первое время я поселился у матери. Мы почти не виделись: она уходила рано, возвращалась поздно и сразу укладывалась спать. Она была секретаршей, работала у своего шефа с тех пор, как он начинал с самых низов, а теперь вместе с ним поднялась наверх. Она всегда держалась на уровне своей секретарской техники, секретарской моды и правил секретарской корпорации. Когда любовная связь, в которую вступил с ней шеф, через год закончилась, она снова стала только секретаршей, и ничем больше. Однако она всегда была к его услугам, если неудача или успех требовали женского участия. Само собой разумелось, что она в любой момент была готова выполнить для него любую работу. Ее шеф был к ней тоже на свой манер лояльным. Он не только позволил

ей подниматься вместе с ним наверх, ступенька за ступенькой, но и пробил для нее персональную зарплату.

Она этим гордилась. Она мечтала изучать медицину, но в войну не смогла сдать экзамены на аттестат зрелости, потому что ее призвали на обязательные работы, не смогла завершить учебу и после войны, потому что появился я и надо было зарабатывать деньги. Родители ее были люди состоятельные, но во время бегства от наступавших русских они погибли от пуль самолета-штурмовика и помочь ей уже никак не могли. Когда ей в 1952 году выплатили компенсацию за погибших родителей, мать решила, что заканчивать школу и поступать в университет для нее уже поздно, и она купила себе дом в одной из окрестных деревенок. Вину ли она меня в том, что я своим рождением разрушил ее планы на жизнь? Она бы смогла стать хорошим врачом, аккуратным, умеющим отличить важное от несущественного, постоянно следящим за новейшими достижениями науки в своей области. Недостаток сердечного участия она бы компенсировала внимательностью и усердием; пациенты, вероятно, не очень бы ее любили, но наверняка ценили бы ее компетентность.

Она всю жизнь была человеком долга, и врачебная профессия подошла бы ей более всего остального. Быть может, она презирала себя за то, что свою энергию и дисциплинированность вкладывала только в борьбу за материальный достаток, а не направляла на высокие цели. Постоянным рефреном моего детства были ее слова, что учеба в школе –

это привилегия и что уж если ей приходится вкалывать ради денег, то я, получив эту привилегию, тем более должен стараться. Когда я забросил свою докторскую диссертацию, она была жестоко разочарована, чуть ли не оскорблена. При этом и в школе, и в университете она не слишком-то облегчала мне жизнь: и в школе, и в университете мне приходилось подрабатывать, чтобы пополнить скудные средства, которыми мать меня обеспечивала, хотя на нашем бюджете уже не лежала тяжким грузом выплата по рассрочке за дом. Мое путешествие в Америку она не одобрила, как не одобрила и то, что, вернувшись, я не засел за диссертацию и не взялся за первую же работу, которую мне предложили.

По счастью, долго искать мне не пришлось. Я очень быстро нашел место редактора в издательстве, и мне это дело сразу же понравилось. Издательство планировало расширить программу выпуска юридических книг, и мне предстояло создать журнал и разработать серию учебников. Существовавшие в то время журналы и учебники вызывали у меня раздражение. Я горел желанием применить на практике все, чему научился за годы своего ассистентства, и готов был создавать новый журнал, публиковать учебники, находить нужных издателей и авторов, устанавливать контакты с читателями-студентами, разъезжать по университетским городам.

Издательство находилось в соседнем городе, там я снял новую квартиру, и она была намного лучше всех моих прежних жилищ. Три этажа виллы, построенной в двадцатые го-

ды, переделали в три квартиры, моя квартира располагалась на втором этаже, она состояла из двух маленьких и одной большой комнаты; в большой комнате был огромный балкон с видом на большую лужайку, окруженную густыми елями, которые закрывали соседние дома. Я перевез на квартиру деды письменный стол и кресло, свою половину двойной супружеской кровати, кухню, которую уступила мне моя бывшая подруга, и целую гору картонных коробок. Изо дня в день я после работы, сидя на полу в большой комнате, разбираю упакованные вещи: одежду, постельное белье, полотенца, посуду, несколько вариантов моей первой диссертации, материалы и записи ко второй диссертации, старые рефераты, свидетельства и аттестаты, тетради и рисунки, письма и дневники, плюшевых зверюшек, пластмассовые машинки, индейцев из папье-маше, ковбоев и солдатиков, а также другие детские сокровища – молочные зубы, подшипники, магниты и пазлы, а еще – американский стальной шлем, найденный мной в развалинах заброшенного дома, и керосиновую лампу, которую я стянул со стройки. Я распаковал все коробки, потому что, начиная новую жизнь, хотел выбросить все лишнее и оставить только необходимые вещи, как когда-то поступили мои бабушка и дедушка.

Мои индейцы, ковбои и солдатики порастеряли в боях свое оперение, наконечники стрел и штыки, ноги и руки. Я устроил им последний парад. Вспоминая, как зовут каждого из них и кто какие подвиги совершил, я брал их по очереди

в руки и вдруг сообразил, что плотная бумага, из которой бабушка и дедушка мастерили эти фигурки, была мне давно знакома. Я стал разворачивать бумагу, увидел на ней с одной стороны буквы и принялся читать. Прочитав несколько фраз, я понял, что читаю роман о солдате, возвращающемся домой. Я собрал все сохранившиеся странички и клочки бумаги, расправил их и отсортировал. Иногда несколько страниц подряд шел связный текст, иногда попадались большие и маленькие пропуски. Я просмотрел все бумаги, в которые были завернуты машинки и прочие детские сокровища, но других страниц не нашел. Отсутствовала и первая страница, с фамилией автора и названием романа.

Я стал читать:

...быстрее, чем он рассчитывал, Карл крикнул: «Вперед!» – и все они – граф, гренадер, Герд, Юрген, Гельмут и оба силезца – одновременно спрыгнули на железнодорожную насыпь. Когда они уже катились вниз по откосу, вслед за ними спрыгнули еще двое. Они опоздали с прыжком и не рассчитали полет. Они угодили прямо под колеса, и их жуткие вопли перекрыл гудок локомотива.

Поезд шел быстрее, чем предполагал Карл, и длина состава была короче. Состав проехал, прежде чем они успели добраться до ближайшего леса, и охрана, появившаяся на железнодорожном полотне, открыла огонь. Первая пуля попала в Гельмута: тело его пролетело в воздухе несколько метров и неподвижно застыло на земле. Еще несколько пуль угодило в двух силезцев. Потом громко вскрикнул Юрген, но продолжал бежать. Карл споткнулся, перевернулся через голову и так, кувырком, докатился до кустов и остался лежать под ближайшими деревьями. Остальным беглецам тоже удалось добраться до леса и спрятаться за деревьями.

Пули продолжали свистеть над ними. Однако огонь велся наугад. Охранники их уже не видели. Преследовать их охран-

ники тоже не могли, иначе им пришлось бы оставить без охраны других пленных.

Беглецы лежали, прижавшись к земле, пока не утихли выстрелы, крики команд, громкие голоса. Лежали до тех пор, пока не наступила тишина, которую нарушало только пение птиц, стрекот цикад и жужжание пчел. «Карл», – прошептал...

...чеешь умереть? – Карл взглянул на него, словно ему было безразлично, каким будет ответ, важно было только, чтобы он наконец прозвучал. – Если не хочешь умереть, надо ее отнять.

Юрген стоял, прислонившись к дереву и тупо уставясь на свою левую руку, распухшую, словно фаустпатрон, серо-лилово-зеленоватого цвета, издающую жуткую вонь, и медленно качал головой. Потом он с детским выражением взглянул на других беглецов и детским голосом сказал:

– Моя Эльза поет, и если я не смогу больше на пианино...

– Руку надо отнять! – Герд покачал головой и направился к Юргену, он шел решительной, размеренной походкой, словно собирался положить ладони на ручки плуга и провести длинную и прямую борозду. Он подошел к Юргену и левой рукой мягко провел по его волосам, а правой резко и сильно ударил его в подбородок, подхватил обмякшее тело и заботливо опустил на землю.

– Глухой мальчишка.

Карл отдал команду: разгрести угли, один нож раскалить на костре, другой – в кипящую воду, рубашку разорвать на бинты, Юргена держать крепко. Потом он стал резать руку, оскалив зубы, в глазах горел азарт точной, страшной и необходимой работы. Юрген пришел в себя и закричал. Покричав писклявым голосом, он снова потерял сознание. Когда руку отрезали, кровь хлынула ручьем. Карл взял раскаленный нож из костра и приложил его к обрубку. Железо зашипело, от дыма и жуткого запаха графа стошнило.

– Он выживет?

Карл зло прошипел:

– Откуда мне знать, я же не врач.

Он перебинтовал обрубок.

– Откуда тебе было знать, что он умрет, если не...

Карл выпрямился.

– Рука у него совсем загноилась. – Он рассмеялся им в лицо. – Вы ведь уже с трудом переносили эту вонь. Вы хотели его бросить. Хотели оставить его здесь, на острове, – по-вашему, так было бы благороднее?

Снова в его глазах мелькнуло что-то особое, жестокое, холодное, презрительное, внушавшее другим беглецам страх. Когда он опустил оба ножа в кипящую воду и сказал, что через десять минут надо...

...только на вид, только как картинка, а закоченевшие руки и ноги так и не отогрелись. Потом большой красный

шар поднялся немного выше, и наступил единственный приятный миг этого дня.

Радуйтесь! Этот миг скоротечен. Солнце потеряет свою багровую окраску, приобретет золотистый цвет. Скоро оно перестанет согревать тело и будет жечь его. Скоро вам придется обмотать голову тряпками так, что останутся только щелочки для глаз с воспаленными, набухшими, отяжелевшими веками. Скоро вокруг зароится мошкара, каждого облепит целая туча, которая будет сопровождать вас до тех пор, пока не наступит холодная ночь. Одежда не защитит вас, не защитят тряпки, которыми обмотана голова, не защитит обувь, и укусы мошкары будут не только чесаться, но и нестерпимо терзать вас, словно нарывы с сочащимся из них гноем.

Радуйтесь! Руки и ноги согрелись, и тундра наполняется запахами. Жалкие пятна мха, редкие цветы и клочки травы, карликовые сосенки – все это благоухает, дурманя голову и дразня обещанием. В этом запахе вы различаете запах родины, запах леса и пустоши, и запах чужого края, в котором растет незнакомая на вкус трава и распускаются невиданные прежде цветы.

В душах товарищей царит тоска по дому и тоска по дальним краям, и беглецы вздыхают, и вздохи их наполнены сладким томлением. Они потягиваются, сами себе удивляясь, потому что в студеную ночь и представить себе не могли, что руки и ноги еще смогут им служить, и усажива-

ются на землю. Гренадер распределяет жалкие припасы – пригоршню ягод, кусок вяленой рыбы и, пока не вышел запас, по половинке картофелины. Потом они вновь отправляются в путь, стараясь не упустить этот благоприятный миг. Но и тогда, когда это мгновение осталось в прошлом, они снова и снова отправляются в путь, не жалуясь и не мешкая. Путь ведет их домой.

Лишь в то утро, когда они устроили привал у лоченов, все было иначе. Юрген лежал неподвижно; Карл сначала подумал, что Юрген умер, но потом увидел, как тот улыбается. Герд и гренадер проснулись, уселись спиной друг к другу и смотрели вокруг, словно они здесь на летней прогулке. Но увидеть им ничего не удалось. Местность, в которой была стоянка лоченов, сейчас опустела.

– Они обещали вернуться за нами. – Граф, приставив ладонь козырьком ко лбу, всматривался в даль. – Мы должны их здесь дожидаться.

– Здесь так красиво, – сказал Герд.

– Почему, – дивился гренадер, – почему мы все это время считали, что нам надо двигаться дальше?

Юрген с улыбкой смотрел на свою культю.

Карл оскалил зубы. Ему придется идти дальше одному? В эти последние недели он порой мечтал о том, чтобы остаться одному. Часто его спутники висели на нем грузом, словно колодки на ногах, в один прекрасный день они могут стать для него камнем на шее. Они не нравились ему. Не нра-

вился ни Юрген, ребенок, который никогда не станет взрослым, ни глуповатый, заносчивый граф, ни гренадер, боевая машина, из которой никогда не сделать мирного обывателя, как не сделаешь трактор из танка, ни Герд, крестьянская и религиозная праведность которого действовала на нервы. Однако он знал, что будет снова тормошить их, что они будут нять, нюнить и упираться, что он будет гнать их пинками под зад, пока из них с потом не выйдет та дурь, которой их вчера угостили лочены. Он не отвяжется от них, пока они не поймут, что идут домой.

Добродушный народ эти лочены, подумал...

Читал ли я раньше о смердящей руке или о добродушном народе – лоченах? Не припомню. Я перелистывал страницы, одно приключение следовало за другим. Мне хотелось знать, что в книге уцелело от концовки, и я прочел последние страницы:

...все время вперед, до окраин Москвы и до вершин Кавказа. После Сталинграда мы о нем больше ничего не слышали. Карл покачал головой.

– Он вернется. Он вернется и снова поставит на ноги свое дело и приведет в порядок дом.

Старик язвительно засмеялся:

– Было бы прекрасно. Но что-то не верится. От всех, кто оказался у русских, мы получили весточку, а от него нет.

Он пристально взглянул на Карла.

– Ты тоже вернулся из русского плена? Выглядишь так, словно проделал долгий путь и не ждешь впереди ничего хорошего. Можешь ночевать здесь, на складе, пока не подыщешь чего получше.

– А жена его еще жива?

– Да.

Старик смотрел перед собой не мигая.

– Только она здесь больше не живет.

Он поднял было руки и снова их опустил.

— Тяжелые времена для женщин.

— Я хочу передать ей привет от мужа. Где я...

— От ее мужа?

Старик покачал головой и поднялся.

— Ложись спать. Завтра рано утром я тебя разбуджу.

Итак, свою первую ночь на родине он провел на полупустом складе своего магазина. Он прошелся по помещению, чтобы увидеть, что уцелело: множество стульев, несколько шкафов и комодов, первые опытные образцы письменного стола, который он спроектировал, прежде чем его отправили на фронт. Ему по-прежнему нравились эти столы; он правильно поступил, сконструировав письменный стол не для директора фабрики или какого-нибудь партийного бонзы, а для писателя или ученого. Он с благодарностью подумал о старике, спасшем мебель и охранявшем склад. Старик почти ослеп, плохо слышал, с трудом передвигался, ему все это стоило огромного напряжения сил. И он бы здесь не остался, если бы не сохранял хоть немножечко надежды на то, что его молодой шеф вернется с войны. Стоит ли ему открыться?

На следующее утро что-то удержало его от этого намерения, он и сам не знал что. Он поблагодарил старика. Потом он отправился в магистрат; верхние этажи здания были разрушены, но в подвале и на первом этаже явно пахло государственным учреждением, словно ничего и не произошло.

Все оказалось очень просто. Его жена проживала в соседнем городе по адресу: Кляйнмюллерштрассе, 58. Он вышел на обочину шоссе, проголосовал, и его подобрал маленький трехколесный грузовичок, который через двадцать минут доставил его до центра соседнего городка. Он шел по улицам, удивленно озираясь: дома не разрушены, сады в цвету, нигде не видно развалин, мусора и воронок от бомб. Колокола на обеих колокольнях церкви пробили полдень, а на рыночной площади продавали картошку, овощи и яблоки. Словно в мирные времена, подумал он, хорошо, что его жене не приходится жить среди развалин.

Он долго стоял перед домом. Дом из красного песчаника, дверь такая, словно кто-то за ней заперт, балкон, на котором можно было бы установить пушки, несколько больших окон и несколько узких, словно бойницы, все здание массивное и мрачное, несмотря на сад, его окружающий. У Карла стало тяжело на душе. Он перешел улицу, открыл садовую калитку и поднялся по ступеням...

Жаль. Я бы с удовольствием еще раз прочел о том, как Карл позвонил в дверь, как ему открыли и как на пороге появилась его жена. И что потом произошло... Читая сейчас книгу, я вовсе не ожидал узнать больше, чем узнал при первом чтении, но тем не менее я читал с напряженным интересом, словно эта история на сей раз могла иметь продолжение и развязку.

Устроившись у себя в квартире, я начал устраиваться в городе. Я бывал здесь раньше; этот город был словно красивый родственник моего некрасивого родного городка, и еще школьниками мы ездили туда, в шикарную старинную часть города, в барах, кафе и подвальчиках которого было намного интереснее, чем у нас. Некоторые из моих друзей поступили там в университет, ведь и университет здесь намного старше и известнее, чем наш, и я бы тоже выбрал его, если бы не получил в университете родного города возможность подрабатывать лаборантом.

Чтобы освоиться в городе, я обошел все местные рынки, – в каждую субботу по одному рынку. В этот день недели на рынках вместе с редкими торговцами устанавливали прилавки многочисленные крестьяне из окрестных мест – небольшие прилавки, с которых они сами, или их жены, или бабушки продавали фрукты и овощи, мед, домашнее варенье, фруктовые соки. Понятное дело, что на каждом из рынков стояли разные прилавки. Однако ассортимент всюду был примерно один и тот же, и везде стояли одни и те же запахи, звучали одни и те же слова, густо окрашенные местным диалектом, призывы покупать мангольд или свежую землянику. Публика была разношерстная, и, приглядываясь к ней, можно было познакомиться с разными районами города: вот

это явно квартал, населенный старожилами, мелкими буржуа, держащимися особняком, а вот квартал, в котором дома всегда поддерживались в ухоженном состоянии, там старое богатство соседствовало с богатством новоприобретенным, а вот квартал, который перестраивают, — рядом с мрачными и неухоженными жилыми зданиями и небольшими фабриками шикарные, капитально отремонтированные дома и тихие, закрытые для машин улицы с перекрестками, выложенными камнем.

Шел 1980 год, и города, преодолев лихорадку сноса и строительства 50–70-х годов, возвращались к былому самоуважению.

Квартал вокруг площади Фридрихсплац как раз и был одним из перестраиваемых. Часть отдельно стоящих домов, украшенных то тут, то там элементами ренессансного и югендстилевского декора, была уже отремонтирована. Более скромные старые дома рядовой застройки еще ждали своей очереди, но кое-где уже были забраны в строительные леса. Церковь Иисуса с двумя колокольнями, построенная из красного песчаника и желтого кирпича, так нарядно возвышалась над каштанами, рыночными киосками и оживленной площадью, что было сразу видно: ее недавно почистили. По улицам вокруг расположенной по соседству школы проезд транспорта был запрещен, а остальные улицы, на которых было введено одностороннее движение, отпугивали водителей своей сложной паутиной. Я прошелся по рынку, сделал

покупки и отправился в ресторанчик на площади с уличными столиками перед входом.

Лишь после того, как прочитанное о солдате, возвращающемся домой, однажды мне приснилось, я начал наяву узнавать описанные в романе места.

Во сне я, словно тот самый Карл из романа, пришел в город, проделав долгий путь, бродил по улицам, не узнавая, как и он, прежних домов, пересек рыночную площадь и, как и он, очутился перед массивным, мрачным, угрюмым зданием из красного песчаника. Тут я проснулся и понял, что дом этот мне знаком. Я понял, что видел его, когда сидел на рыночной площади, но тогда не обратил на него внимания.

После работы я отправился туда. Улица, которая идет от Фридрихсплац, называется не Кляйнмюллерштрассе, а Кляйнмайерштрассе, и номер у того самого дома не 58, а 38. Все остальное совпало: красный песчаник, дверь как в тюрьме, балкон как пушечная платформа и окна-бойницы. Дом выглядит мрачно и не бросается в глаза, фасад смотрит на восток и укрыт тенью, но могу себе представить, что в лучах утреннего солнца он выглядит более приветливо. Я это выясню. Я все выясню.

Я открыл садовую калитку, поднялся по ступеням к входной двери и стал читать фамилии жильцов на табличках рядом с кнопками звонков. Карл в романе поднимался по лестнице – я об этом еще помнил, – стало быть, его жена жила на

втором, третьем или четвертом этаже. Ни одна из фамилий мне ничего не говорила. Я хотел было позвонить, но удержался. Я записал все фамилии, чтобы потом написать этим людям или позвонить.

Карла подобрал на шоссе маленький трехколесный грузовик, доехали они за двадцать минут. Вероятно, он жил и владел мебельным магазином в городе, в котором я вырос; его жена переехала в соседний город, в котором я теперь живу и работаю. В романе не сказано, где находился склад его магазина. Может быть, неподалеку от нашей старой квартиры? Когда он вернулся с войны, я уже появился на свет. Возможно, я как раз играл на улице, когда он проходил мимо.

Меня развеселила мысль о том, что я едва не встретился с романым героем. Не странно ли, что эта рукопись попала в руки дедушке и бабушке? Быть может, автор был другом моей матери, а она порекомендовала его дедушке и бабушке? Или это произошло случайно? Я помню, что «Романы для удовольствия и приятного развлечения» писали не только швейцарские, но и немецкие авторы. Почему бы не оказаться среди них кому-нибудь из моих земляков? Человеку, который не придумывал города и дома, а заимствовал их из реальности?

Дома я продолжил чтение:

...река была широкая, шире всех рек, которые им прежде доводилось видеть.

– Должно быть, это Амазонка, – уважительно произнес Юрген. – Я читал...

Граф издевательски хохотнул:

– Амазонка...

– Заткните глотки.

Гренадер махнул рукой куда-то вверх по течению:

– Что там такое?

Это не было похоже на пароход. Ни на пассажирское, ни на грузовое судно. Ни на баржи, связанные цепочкой, какие Карл видел на Рейне. Казалось, что вниз по реке плывет остров, целый остров с домом посередине и забором вокруг него. Карл понял, что этот плавающий остров – их единственный шанс. Переплыть всю реку они не в состоянии, а вот до острова доплывут, а уж потом, с острова, смогут добраться до другого берега. Он снял башмаки, штаны и рубашку и уложил все в мешок. Зная, что его спутники не удовольствуются никаким объяснением, но все равно последуют за ним, он прыгнул в воду.

Они доплыли. Даже Юрген, который держал свою куль-

тию над водой, даже граф, которого охватил нелепый страх, что вода зальет ему нос. Через полчаса, переводя дух, они сидели на бревнах, связанных воедино и образующих плавающий остров.

— А это что такое?

Гренадер показал на забор, над которым возвышалась крыша дома.

— Сейчас узнаем.

Карл поднялся и кивнул гренадеру:

— Пойдем!

Они обошли забор, обнаружили вход, их впустили и отвели к главному.

— Немцы, — рассмеялся тот, — солдаты. Вам тут делать нечего. Вам нет места ни в России, ни в Сибири.

— Да мы и не хотим здесь остаться. Мы хотим домой.

— Ага! — Главный снова засмеялся и хлопнул себя ладонями по ляжкам. — Вам повезло. Вам повезло, что прибились к аольцам. Если согласитесь на меня работать, я возьму вас с собой, пока те, что на берегу, про вас не забудут.

Он показал рукой сначала на один, а потом на другой берег:

— Советский Союз там, и вот там тоже Советский Союз, а здесь — свободная территория. Никаких партий, никаких комиссаров, никаких Советов. У меня шесть дочерей и шестеро сыновей, и если каждый из них будет иметь по восемь детей, то нашу свободную страну будет населять

большой свободный народ. Да здравствует свободная Аолия!

— А что будет, когда вы доплывете до конца?

Карл не знал, что это за река и куда она течет, но ведь куда-то эти плоты сплавляют, куда-то их следует доставить, и явно по эту сторону границы, а не по ту.

Главный взглянул на него враждебно и недоверчиво. Он был огромный, как медведь. На какую-то секунду Карлу показалось, что эти медвежьи лапы его сейчас раздавят. Однако главный снова рассмеялся и хлопнул себя по ляжкам:

— Хитрому немцу хочется знать, что случится, когда путешествие закончится? Свободная Аолия бросится врассыпную. Нас унесет ветром, а когда он опустит нас на землю, свободная Аолия снова сомкнет свои ряды.

Он подошел к широкому, плоскому, сколоченному из грубых досок строению и распахнул ворота. Внутри находился гидросамолет.

Карл задался вопросом, как в один прекрасный день великому и свободному аольскому народу посчастливится долететь на этом маленьком самолете до верхнего течения реки. Правда, если главному удалось достать маленький самолет, он, вероятно, сможет раздобыть и большой. А может, он раздобудет и такой самолет, который вместе с ветром унесет их на родину или, по крайней мере, за границу?

Они пробыли на плоту целый месяц. Каждый вечер главный, его жена и дети устраивали праздник, и беглецы празд-

новали вместе с ними. Каждое утро они вставали с первыми лучами солнца и рабо...

...словно бы напали великаны, собиравшиеся их уничтожить. На них сыпались градом камни, словно брошенные тысячей сильных рук. Деревья, под которыми они устроили привал, ломались, словно чей-то кулак с размаху обрушивался на маленький лесок, составленный из спичек играющими детьми. Земля содрогалась, готовая провалиться в никуда. Карл, устроившийся на ночлег за скалой и тем самым спасшийся от летевших обломков, за глухими ударами падавших камней и треском ломавшихся деревьев услышал крики своих товарищей. Он различил крик Юргена, такой же пронзительный, как тогда, когда Карл ампутировал ему руку, различил хриплый крик графа и вопль гренадера, который ревел так, словно он, уже раненный, бросился на врага в штыковую атаку. Голоса Герда он не услышал, но потом увидел его в бледном свете луны, в нескольких шагах от скалы, за которой прятался, увидел, как на Герда падало дерево, за секунду до этого защитившее его от камней, и Карлу хватило этой секунды, чтобы протянуть руку и затащить Герда за скалу. Они лежали в укрытии, тяжело дыша, а снаружи продолжала бушевать ярость великанов, и крики людей доносились все глуше и наконец вовсе умолкли.

На следующее утро они решились выглянуть из своего укрытия и не узнали местности, в которой находились вче-

ра. Герд попытался приподнять несколько камней в поисках своих товарищей, но вскоре вынужден был отказаться от этой затеи. Месиво из сломанных деревьев, веток и камней образовало слой толщиной метра два, покрывавший то место, на котором вчера их товарищи расположились на ночлег. Чтобы их отрыть, потребовался бы экскаватор.

– Вчера нам не повезло с самолетом, а ведь граница была совсем близко, и вот сегодня новая беда. Неужели мы обречены?

Карл презрительно фыркнул:

– Обречены? Все равно это лучше, чем сгнуться на руднике. Самый худой день на свободе лучше, чем самый хороший в шахте.

Он задумался о сказанном, потом добавил:

– Даже смерть на воле лучше, чем рудник.

Герд покачал головой:

– Я знаю, ты прав, но нас словно сам Господь подвергает испытанию.

– Надо уходить.

– Погоди. – Герд взял Карла за локоть. – Ты ничего не чувствуешь? Не чувствуешь, как они прощаются с нами и хотят, чтобы мы с ними попрощались?

Он приложил ладонь к уху, словно прислушиваясь.

Карл попытался справиться со своим нетерпением, начав считать про себя. «Я досчитаю до пятидесяти», – подумал он, а потом досчитал до ста, потом – до ста пятидесяти.

Продолжая считать, он услышал, как Герд тихонько напевал: «Был у меня товарищ, уж прямо брат родной...»⁹

⁹ Строки из песни на слова немецкого поэта Л. Уланда (1787–1862) в переводе В. А. Жуковского.

Как раньше я не мог вспомнить, что уже когда-то читал о смердящей руке и приветливых лоченах, так и теперь, сколько ни напрягал память, не мог припомнить, встречался ли мне раньше отрывок о свободной Аолии и о ярости великанов. Не помнил я ничего и о встрече со стариком, верно охранявшим хозяйский мебельный склад, хотя конец истории занимал меня особенно сильно. И все же несмотря на то, что при чтении этих отрывков я не узнал чего-то ранее прочитанного, они вызвали у меня впечатление чего-то давно знакомого и близкого. Близкого и все же одновременно нового – чего-то здесь явно не хватало. Иногда мне казалось, что здесь не хватает водных просторов, что в приключениях Карла, о которых я словно бы читал в какой-то другой книге, вода играла значительно большую роль. Не только широкая река, но и большие озера и бескрайние моря, острова и побережья, озеро Байкал и Аральское море, Каспийское и Черное моря.

Этот обман памяти действовал на меня раздражающе. В бытность мою ассистентом я некоторое время вместе с коллегами работал над компьютерной программой по разрешению юридических казусов, и программа эта должна была выдавать ответ на вопрос, был ли тот или иной иск решен положительно, были ли выдвигаемые претензии обоснованны-

ми, а возмещение ущерба обязательным. Вскоре мы поняли, что проблема заключается не в хитростях программирования, не в объеме памяти и скорости вычислений. Она заключалась в том, что мы не знали точно, как поступают юристы, когда они разбирают дела. И пока мы в этом досконально не разобрались, невозможно было создать симуляцию этого процесса в компьютере. И хотя мы нашли много материалов о том, что обязаны делать юристы, разбирая судебные дела, мы не обнаружили почти никаких данных о том, что они в действительности делают. Одной из немногочисленных зацепок было предположение, что при разрешении юридических казусов, как и при постановке врачом диагноза или во время опытов, проводимых химиком, решающую роль играет распознавание типовых моделей, и мне поставили задачу провести интервью с юристами по поводу роли распознавания моделей в их работе.

– Ощущение дежавю, – ответил мне один судья на пенсии, – ощущение узнавания чего-то уже знакомого, хотя на самом деле с этим прежде не сталкивался. С возрастом это случалось со мной все чаще: мне казалось, что в новом судебном деле я узнаю старое, прежде знакомое, я выносил решение, не задумываясь, но когда я собирался поставить папку с завершенным делом на полку рядом со старым, выяснялось, что этого старого дела не существовало в природе.

– А как вы объясните?..

– Мы с вами сейчас толкуем о моделях. С годами в моз-

гу не только накапливается память о прежде рассмотренных делах и принятых решениях, но элементы, из которых эти прежние образцы состоят, складываются в новые образцы и модели. Их-то и узнаешь в случае дежавю.

– Они сами складываются в новые модели?

– Ну, знаете, возможно, что эти варианты ты уже однажды обдумывал, когда искал решение для одного из дел. Говорят, что у Наполеона утром перед битвой под Аустерлицем было такое дежавю. Мне это понятно. В его памяти хранились не только битвы, которые ему были известны и в которых он участвовал, но и все битвы, о которых он по той или иной причине мог подумать, то есть сплошные образцы и модели, состоявшие из таких элементов, как солдаты, пехота и кавалерия, пушки, местность, позиция. Одной из таких моделей и оказалась модель битвы под Аустерлицем.

Использование существующих моделей при разработке нашей программы уже само по себе представляло весьма сложную задачу. Что уж тут говорить о моделях вымышленных? Каковы элементы, из которых составляются модели юридических решений? Если бы и удалось их определить, то как программе удалось бы соединить их с вымышленными моделями, причем не произвольными, а связанными с вынесением справедливого решения? А уж тем более с образцами справедливого решения, которые не несли бы на себе ни малейших следов, связанных с размышлениями о пользе дела?

Мне не удалось найти ответ ни на один из этих вопросов.

Я просто представил отчет о моих интервью, вот и все. Я с удовольствием работал в издательстве как раз потому, что там не надо было заниматься такими загадками. Как надо обходиться с авторами, может ли быть принята та или иная рукопись, хорошо или плохо продается та или иная книга? Загадками тут и не пахнет.

А вот теперь я снова столкнулся с загадкой. У меня было ощущение дежавю и был шанс вспомнить, как было дело. Чем занимались герои этого романа за моей спиной, в какие модели укладывались их судьбы?

Я дочитал до конца:

...был оживлен и весел, но глаза были усталые, а у рта грустная складка.

– Все погибло: магазин, дом – все.

– Мы все отстроим заново.

– Как рождественские ясли, – улыбнулась мать, и Карл вспомнил, как на Рождество двоюродный брат новым мячом разнес на куски старые рождественские ясли и разметал все фигурки и как они с матерью снова все восстановили.

Он хотел было улыбнуться в ответ, но ее улыбка уже погасла, и она снова сказала:

– Все разрушено: магазин, дом – все.

Он не хотел повторять сказанного, но другие слова не приходили ему в голову. Сказать, что дом – это всего лишь дом, а магазин – всего лишь магазин? И что важно только одно: жив ты или нет?

– Все...

– Перестань!

Он так громко закричал на мать, что проснулся и вскочил на ноги. Герд спросил:

– С тобой все в порядке?

Он кивнул:

– Мне жаль, что я тебя разбудил.

– Тебе снился рудник? Мне каждую ночь снится, как я толкаю вверх вагонетку. Помнишь ту тяжелую вагонетку, которой убило Вестфалена, когда он не в силах был больше толкать ее и она его задавила?

Карл кивнул:

– Спи, Герд. Не думай о вагонетке. Не думай о мертвых. Думай о родине.

Спустя некоторое время Герд спросил:

– Как-то они нас примут?

Карл презрительно усмехнулся:

– Я их об этом спрашивать не стану.

...и если они не заплатят, его проклятие будет лежать на них. С тем он их и отпустил.

Они двинулись в путь. Карл и Герд шли, поочередно меняя друг друга, то Карл впереди, то Герд. Почва была каменистой, но песок, до которого вроде бы оставалось еще четыре дня пути, уже скрипел на зубах. Ветер дул непрерывно, он забивал рты песком, засыпал волосы и одежду, забивал уши, нос и глаза, которые превратились в узкие щелочки. Горы вечером первого дня казались столь же далекими, что и утром в начале пути, то же самое было на второй и на третий день. На четвертый день пути они больше не обращали внимания на горы. Они добрались до колодца. Хотя

они были к этому подготовлены и не слишком многого ожидали, разочарование было сильным: вода была зловонной.

— Он сказал, что воду можно пить.

Карл оборвал его:

— Хватит тебе. Если у нас нет выбора, нечего ныть и причитать. Мы станем пить эту воду, мы возьмем ее с собой про запас, и мы за нее заплатим.

В углублении за камнем с начертанными на нем буквами уже лежало несколько монет; Карл, как было обещано, положил туда деньги.

Вода отдавала затхлостью, и все же это была вода. Она наплатала губы, рот и гортань. Она булькала в животе. Она смочила их лица и руки.

— Очень хорошо, — торжественно произнес Герд, — очень хорошо.

Они наполнили водой бутылки и продолжили путь. Герд ничего не замечал вокруг, а Карл не сказал ему о темных тучах над кромкой гор. Что бы там ни затевалось, ничего не остается, как идти дальше. Облака скоро закрыли не только горизонт, но и край неба над горами, а потом и половину небосклона.

Теперь и Герд их заметил:

— Скоро будет дождь!

Карл кивнул. Он следил, как туча увеличивается в размерах. Это была не простая туча. Она была как живая, как рой москитов, как пчелиный рой, как птичья стая. Внут-

ри тучи происходило круговое движение, что-то там переворачивалось, что-то извергалось наружу, а потом снова втягивалось внутрь, и туча продолжала расти. Кроме того, раздавался странный шум, словно пронзительный свист, — Карл ничего подобного не слышал и не хотел бы никогда услышать. Шум этот напоминал ему шипение, исходящее от линии электропередач, и в этот момент он заметил всполохи молний. Не обычные молнии, какие он видел раньше, не короткие всполохи и вспышки света, а ослепительное переплетение молний, словно переплетение артерий на руке жуткого, грозного, бичующего древнего бога. Разразилась настоящая электрическая буря. Карл услышал, как в воздухе раздается треск, и почувствовал, как волосы на голове у него стали дыбом, а потом до него донесся ужасный вопль, режущий слух, словно лезвие ножа, разверзающийся, словно открытая рана, и увидел Герда, которого на секунду охватило пламя, а потом он упал, покатился по земле и затих у него в ногах, весь почерневший. Его черное, искаженное гримасой лицо мелькнуло лишь на секунду, а потом все почернело вокруг, обрушился ветер, песчаная буря хлестнула по лицу, и Карл упал на колени.

«Вот он, Страшный суд, — подумал он. — Если я переживу это, то переживу и все остальное. — Он почувствовал, как его все сильнее засыпает песком. — Мне нельзя здесь оставаться, не хочу, чтобы меня здесь засыпало. Не хочу, чтобы меня здесь похоронило».

Он поднялся на ноги и двинулся вперед, шаг за шагом. Он шел без цели, из последних сил; он передвигал ноги только усилием воли. Черт бы все побрал: этот песок, эту пустыню, эту смерть, но он им просто так не сдастся. Трижды он валился с ног и чувствовал, как песок вырастает вокруг него и грозит погрести его под собой, и трижды он снова вставал и продолжал путь. А потом он шел не сам, а что-то толкало его вперед, несло и бросало по сторонам. Туча больше не старалась засыпать и похоронить его. Она то вдыхала его в себя, то выдыхала, поднимала в воздух и несла прочь, сдувала его с земли, словно хотела позабавиться и поиграть с ним. Он ничего не мог сделать, ничего. Он только отмечал про себя, что еще жив.

Вдруг он ощутил, что в состоянии открыть глаза. Песчаная буря прекратилась. Небо снова сияло голубизной, сияло высокомерием, словно не хотело, чтобы кто-то заметил, как его унизили, укутав в тучу столь грубым образом. Карл порадовался солнцу, которое он так часто проклинал, бредя по пустыне, приветствовал его как друга после мрачной бури. Он увидел, что буря вынесла его к подножию гор. На одном из серых склонов он заметил круглую скальную вершину, на которой стояла маленькая хижина, и понял, что буря направила его к цели.

Когда он почти добрался до хижины, дверь в ней отворилась, на порог вышла женщина и направилась в его сторону. Она идет словно королева, подумал Карл, и его охватил

страх. У него не осталось ни сил, ни воли, он совсем ослабел. Он был в лохмотьях, весь покрыт коркой грязи, от него несло вонью – сейчас она позовет своих мужчин, и они прогонят его, словно бродячего шелудивого пса. Он видел, как она красива, видел ее волнистые волосы, сильные плечи, полную грудь, округлые бедра и длинные ноги. Когда она подошла ближе, он увидел в ее глазах немой и дружелюбный вопрос, увидел, как она улыбается. Он попытался что-то ответить, но смог выдавить из себя только какой-то хрип, и в этот же самый момент он споткнулся о камень и упал на бок. Последнее, что мелькнуло в его сознании, была мысль, что он хотел пасть ей в ноги.

Очнувшись, он обнаружил, что лежит на постели. Он чувствовал прикосновение льняных простыней, и впервые за многие годы это было ощущение словно от чистой воды или от свежего хлеба. Он услышал пение, открыл глаза и увидел...

...тебя не удерживаю. Я дам тебе длинное пальто и большую отцовскую сумку, дам в дорогу припасов, чтобы тебе хватило на переход через горы и долину, по которой проходит граница.

Карл не знал, стоит ли ей верить.

– Я...

– Ничего не говори.

Калинка обвила руками его шею и прижалась головой к

груди.

— Если тебя так мучают воспоминания о родине... Воспоминания о другой... Будет ли тебе с ней хорошо? Будет ли она петь тебе песни на сон грядущий? Знает ли она, какие травы нужно собрать, если вновь заболит старая рана? Прижмет ли она твою голову к своей груди, если тебе приснится рудник и ты в страхе проснешься? Как бы я хотела, чтобы ты остался еще на девять месяцев, а потом еще и еще — навсегда.

Калинка выпустила его из объятий и ушла в хижину. Он устремил свой взор в ту сторону, куда ему предстояло идти, в сторону пустыни, отрогов гор и вершин, и во взгляде его не было ничего от той печали, которая одолевала его, когда он частенько стоял здесь и смотрел вдаль. Он грустил, что приходится расставаться, но радость от мысли, что он отправляется в путь, была сильнее.

Некоторое время спустя она позвала его. Она приготовила шинель и сложила дорожную сумку. Она подала ему еду, такую же, как и в прошлые вечера. Она обнимала его ночью точно так же, как во все прошлые ночи. Когда он утром встал и отправился в путь, она притворилась спящей. А потом она стояла у порога хижины и смотрела ему вслед. Смотрела, как он поднимался в горы все выше и выше...

Девять месяцев! Он встретил Калинку на девяносто третьей странице, а покинул ее на девяносто пятой, то есть де-

вять месяцев он не занимался ничем другим, кроме как ел, печально вглядывался в даль и любил женщину. Девять месяцев, в течение которых он не мог отправиться дальше, — нет, девять месяцев, в течение которых он не хотел отправляться дальше, несмотря на тоску по дому и жене.

Я удивился, что мои высокоморальные дедушка и бабушка позволили герою так себя вести. Или они наказали его за такое поведение, повернув сюжет так, что по возвращении домой он узнал: его жена живет с другим? Если роман заканчивался наказанием Карла, то жена его не могла встретить мужа, считавшегося погибшим, радостным криком после первых мгновений испуга, не могла заключить его в объятия. И другому мужчине, разоблаченному лжецу и обманщику, не пришлось убираться прочь. И Карл, если бы он осмелился бросить вызов сопернику, потерпел бы жалкое поражение.

На выходные я съездил к матери. Когда деревенька на берегу Неккара, в которую она переехала вместе со мной, стала предместьем города, она переселилась в деревню на краю Оденского леса. Она со всеми здоровалась, любила поболтать с другими женщинами в лавке, но в остальном жила сама по себе. Она всегда любила водить машину и теперь, когда смогла себе это позволить, купила спортивный кабриолет. По дороге на работу ей приходилось торчать в пробке. А вот вечером она работала допоздна и по дороге домой наслаждалась быстрой ездой. Летом она откидывала верх автомобиля, распускала длинные светлые волосы по ветру и во время остановки перед светофором наслаждалась восхищенными взглядами мужчин, на которые она обычно никак не реагировала. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не строгость во взгляде и презрительная усмешка на губах. Всего этого в машине у светофора было не разглядеть. Иногда выражение строгости и презрения исчезало с ее лица. Возможно, в этом были виноваты сумерки на террасе ее дома или свет от свечи в ресторане.

Я навещал ее раз в месяц, иногда мы встречались в городе, чтобы вместе пойти в кино или поужинать, — это были легкие и скучноватые встречи. Мать обходилась со мной не то чтобы без особой душевности, но как-то очень сдержан-

но. Она вообще была сдержанной, а по отношению ко мне она эту сдержанность подчеркивала, потому что хотела добавить к моему воспитанию немножко мужского начала. Ей были чужды нежность, доверительность, умение грустить о том, что довелось пережить, или о том, что упущено, чужда всякая нерешительность и неопределенность. А может, она все эти чувства так долго и глубоко прятала в себе, что они больше не пытались выйти наружу. Мы рассказывали друг другу о событиях своей жизни, не особенно их комментируя. Ко мне она продолжала относиться со строгостью, но свои упреки облекала в приличествующую случаю вопросительную формулу: «Ты еще вспоминаешь о своей докторской диссертации? Ты еще встречаешься с той женщиной, с которой меня тогда познакомил?»

Иногда я привозил с собой все необходимые продукты и готовил еду. Мать не любила и не умела готовить. Я вырос, питаюсь хлебом, бутербродами и разогретыми готовыми блюдами. Она редко бывала такой открытой и воодушевленной, такой по-девически оживленной, как в тех случаях, когда я возился на кухне у плиты, накрывал на стол, а она рядом со мной занималась чем-нибудь необязательным или потягивала шампанское из бокала. Запретные темы оставались запретными: об отце, о ее отношениях с ним, о ее связях с другими мужчинами и с ее шефом она и в такие вечера ничего не рассказывала. Зато она рассказывала о своем детстве, о том, как после бегства от русских начинала все

заново, как мешочничала по крестьянским дворам в окрестностях, о продуктовых пакетах с американской помощью, о том, как собирала крапиву и варила ее.

– Ты варила крапиву?

– Да, представь себе.

– А меня ты с собой брала, когда мешочничала?

– Да, тогда я была маленькой храброй светловолосой женщиной с ребенком на руках. Ты рано стал зарабатывать деньги.

Я расспрашивал ее о «Романах для удовольствия и приятного развлечения». Насколько мне известно, она никогда не ездила со мной к бабушке и дедушке, и без меня тоже туда не ездила. Помню, я еще в детстве приставал к ней с расспросами, пока она мне не объяснила: дедушка и бабушка не могут ей простить, что их сын полюбил ее и женился на ней и поэтому остался в Германии и погиб, и хотя она понимает горе дедушки и бабушки, но не видит причин, почему ей надо каждый раз нарываться на эти несправедливые упреки. Я скрепя сердце, но с гордым видом сказал ей тогда, что в этом случае я тоже к ним больше не поеду. Нет, расставила она все точки над «i», мне ведь, в отличие от нее, не приходится от этого страдать. «И не вздумай обижаться на дедушку и бабушку. Они тебя любят, и ты их тоже. Они хорошие люди. Вот только с горем своим никак не могут справиться».

– Ты помнишь ту романную серию, которую дедушка с бабушкой издавали после войны? Ты когда-нибудь рекомендо-

вала им кого-то из авторов? Ну, там, друзей или знакомых, которые писали романы?

– Ты ведь сам знаешь, у меня с бабушкой и дедушкой отношения ограничивались только самым необходимым. Я у них узнавала, когда твой поезд прибудет к ним, когда ты вернешься от них домой, сколько времени ты у них пробудешь. Никаких авторов я им не рекомендовала.

– А тебе знаком дом из красного песчаника по адресу: Кляйнмайерштрассе, 38, неподалеку от Фридрихсплац, рядом с церковью Иисуса?

– Это что, допрос? Позволено мне будет узнать, в чем меня обвиняют?

– Это не допрос. Я просто пытаюсь кое-что выяснить об одном из романов, вышедших в этой серии.

Я рассказал ей о том, что читал много лет назад и что снова прочел совсем недавно, рассказал о приключениях Карла и о том, как я обнаружил этот дом.

– Автор, вероятно, жил в этих краях!

– Тебе что, нечем больше заняться?

– Ты о моей диссертации? Знаешь, мама, я не стану ее дописывать. Ты и представить себе не можешь, как я рад, что от нее отделался. Иногда я с удовольствием размышляю о той или иной проблеме. А вот закончить диссертацию – нет, мне важнее узнать о том, чем закончилась история этого Карла.

– Есть с десяток вариантов концовки подобной истории.

Ты и представить себе не можешь, какую бездну историй о тех, кто вернулся домой, рассказывали и печатали после войны. Был даже такой жанр – романы о солдатах, вернувшихся с войны, как, к примеру, жанр любовного и военного романа.

– Расскажешь мне какой-нибудь вариант?

Она задумалась. Ей потребовалось время, чтобы поразмыслить как следует. Потом она сказала:

– Она остается с другим. Ей сообщили, что Карл погиб, и она горевала о нем, а потом встретила другого человека и полюбила его. Карл сохраняет спокойствие, когда она ему об этом говорит. А потом он требует от нее и от того, другого, чтобы они поклялись жизнью своих дочерей, что никогда и никому не расскажут о том, что он жив. Она удивляется, он настаивает на своем, и она дает такую клятву, а вслед за ней клянется и тот, другой мужчина. И Карл уходит навсегда.

«Неужели тебе нечем больше заняться?» Мать умела пробудить во мне угрызения совести. Это был ее способ воспитания, с помощью которого она добилась, что я хорошо учился, и позаботилась о том, чтобы я примерно выполнял свои обязанности по дому и в саду, аккуратно разносил журналы и был вежлив со своими друзьями и знакомыми. Привилегию учиться в школе, жить в красивом доме с прекрасным садом, иметь деньги на все необходимое, а также на кое-какие излишества, наслаждаться дружбой приятелей и любовью матери – все это нужно было еще заслужить. И заслуживать это следовало охотно и радостно; решение конфликта между долгом и желанием заключалось, по мнению моей матери, в том, чтобы выполнение долга стало для меня желанной обязанностью.

Повзрослев, я стал над этим смеяться. Я думал, что я от этого избавился, когда с легким и радостным сердцем отказался от завершения докторской диссертации. Однако стоило матери задать свой вопрос-упрек, как угрызения совести снова дали о себе знать с прежней силой, причем, как и раньше, для этого даже не потребовалось повода в виде дурного поступка. Меня опять мучила совесть, хотя я не знал за собой никакой вины.

Однако кто ищет, тот всегда найдет. В калифорнийском

раю я принял решение оставаться для моей бывшей подруги и для ее сына добрым другом, коли они в этом нуждались. Выполнить это решение мне так и не удалось. А ведь это было похвальное решение, и моей сумасбродной подруге Веронике нужен был хороший друг, а ее сын Макс, о котором его родной отец никогда не заботился прежде и не заботится теперь, за восемь лет проживания со мной под одной крышей привязался ко мне больше, чем к кому-либо еще, и мне удалось отговорить его от многих глупостей. Я не хотел, чтобы Макс расплачивался за то, что я не хочу встречаться с мужчиной, с которым Вероника закрутила роман перед тем, как мы с ней расстались.

Встретился я уже не с этим человеком, а с ее новым любовником. Вероника отказалась от моей дружеской поддержки: я, дескать, нужен был ей, когда ее оставил прошлый ухажер, а теперь она и без меня обойдется. Но Макс так обрадовался мне, и мы с ним вспомнили о нашей старой привычке и раз в две недели стали вместе ходить в кино. Иногда мы не только ходили в кино, но заглядывали в кафе, чтобы съесть пиццу или жареные колбаски с картошкой фри и выпить стакан-другой колы.

Теперь мне было чем заняться по крайней мере раз в две недели. Но именно эти занятия вдруг помогли мне взять след в моих поисках, в моих попытках узнать, чем закончилась история Карла, и я воспринял это как знак свыше, позволивший мне не мучиться угрызениями совести и продолжить

разыскания. Мы сидели с Максом в кино и смотрели «Приключения Одиссея» с Кирком Дугласом в главной роли, и тут вдруг у меня словно пелена с глаз упала. То, что наводило меня на мысли о Каспийском или Черном море, на самом деле было связано с Эгейским. История «Одиссеи» как раз и была тем образцом, по которому выстраивались истории Карла и его спутников, все их блуждания, приключения, все выпавшие на их долю испытания, их гибель и возвращение Карла домой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.